

Александр Иванович Куприн

Весь Куприн

Корней Чуковский. Куприн

I

Старичок долго отказывался, наконец махнул крохотной ручкой:

— Ладно, согласен... попробуем!

— Да что тут пробовать! — возразил Александр Иванович Куприн. — Дело верное. На себе испытал.

Александр Иванович поставил на стол небольшую жестянку и вскрыл ее перочинным ножом. В жестянке оказалась пахучая жирная зеленая краска.

Старичок был пьян, но не очень. Было в нем что-то противное: мешки под глазами, тараканьи усы.

— Ну, господи благослови! — сказал Куприн и, сунув в жестянку малярную кисть, мазнул ею по седой голове старичка.

Старичок ужаснулся:

— Зеленая!

— Ничего! Через час почернеет!

Капли краски так и застучали дождем по газетным листам, которыми старичок был прикрыт как салфетками, чтобы не испачкался его новый костюм.

Вскоре его седая щетина стала зеленой, как весенний салат.

Он выпил еще одну рюмку, хихикнул и блаженно уснул.

Спал он долго — часа два или три. К ночи он проснулся с мучительным воплем. Краска стала сохнуть. Кожа на его

крохотном темени стягивалась все сильнее.

Старичок заметался по комнате.

Потом он подбежал к зеркалу и горько захныкал: голова осталась такой же зеленой.

— Ничего, ничего, потерпите! Еще десять-пятнадцать минут...

Я сбежал вниз к парикмахеру Ионе Адольфовичу (парикмахерская была тут же, при гостинице) и упросил его отправиться со мною в 121-й номер, чтобы спасти старичка. Но волосы несчастного склеились от масляной краски и стали жесткими, как железная проволока.

Иона взглянул на них и свистнул:

— Какая мне радость ломать себе бритву!

Он нисколько не удивился, что волосы старичка изумрудные. Он работал при этой гостинице несколько лет и хорошо знал привычки ее обитателей: гостиница была писательским подворьем.

Лишь после того как краска с головы была смыта при помощи керосина и ваты, можно было, и то с величайшим трудом, избавить старичка от зеленых волос.

— Эх, поторопились! — с упреком сказал Александр Иванович. — Потерпели бы десять минут, и были бы жгучий брюнет. Ведь эта краска специальная: голландская!

Старичок ничего не ответил. С ним случилась новая беда. Когда его голова стала голой, оказалось, что вся она в пятнах. Сколько ни терли ее керосином, пятна не хотели смываться.

— Ну что ж! — сказал Куприн. — Поздравляю! Настоящий глобус. Австралия! Новая Гвинея! Италия!

Старичок буркнул ему что-то сердитое, нахлобучил шляпчонку и убежал как ошпаренный.

— Сволочь! — выразительно сказал о нем Александр Иванович. — Полицейская гнида! И какого черта вы пожалели его! Он у меня так и остался бы навеки

зелененький!

По словам Куприна, этот худосочный субъект, с виду такой безобидный и жалкий, был зрителем одесской тюрьмы, ярый черносотенец, погромщик. Куприну показали его где-то в Крыму, и вдруг нежданно-негаданно писатель увидел его здесь, в Петербурге, в кабачке «Капернаум» на Владимирской.

Сейчас я не помню подробностей: дело было давно, в декабре 1905 года. Помню только, что Куприн, обладавший необыкновенным умением сблизиться ради своих писательских надобностей с людьми всевозможных профессий: с шахтерами, банщиками, мастеровыми, шулерами, карманниками, фальшивомонетчиками, взломщиками несгораемых касс, укротителями тигров и львов, — стал подолгу просиживать в своем кабачке с этим плюгавым тюремщиком, внимательно вслушиваясь в его пьяные речи, и выведал его великий секрет: оказалось, что тот приехал в столицу жениться, но смущается своей сединой. Тут-то Куприн и предложил ему чудотворное «голландское» средство для окраски волос, повел его в «Пале-Рояль» (что на Пушкинской) в чей-то номер (не то Владимира Тихонова, не то Бориса Лазаревского) и по-своему расправился с ним.

Между тем я пришел к Куприну по важному и спешному делу: в качестве редактора журнала «Сигнал» я хотел упросить его, чтобы он написал для журнала рассказ. Но поговорить об этом в тот вечер уже не пришлось: в номер нагрянули какие-то незнакомые люди и увлекли Александра Ивановича к новым приключениям и подвигам.

На следующий день я пришел к нему спозаранку. В прихожей меня встретил его верный оруженосец Маныч, рослый, молчаливый, насупленный и важный мужчина, который весь год неотступно сопровождал Куприна по всем его путям и перепутьям. Об этом человеке Куприн сочинил

забавную басню, из которой я помню лишь последние строки:

Когда увидишь Маныча,
Дай стрекача!

И началось особенное — купринское — кружение по городу. Неутомимый пешеход, Александр Иванович вечно рыскал из улицы в улицу в азартной погоне за новыми впечатлениями. В тот день ему нужно было побывать и на митинге работников прилавка, и на съезде каких-то сектантов, — кажется, скопцов или баптистов, — и в психиатрической лечебнице доктора Прусика, чтобы потолковать с глазу на глаз с каким-то необыкновенно интересным лунатиком.

Когда я спрашивал: «А как же рассказ?» — он только улыбался в ответ, и мне пришлось безропотно шагать вслед за ним с тремя или четырьмя его спутниками, число которых неуклонно росло, так как Куприн был человек компанейский и всегда на ходу привлекал к себе все новых и новых людей. На Васильевском к нам присоединился художник Петя Троянский, добрый малый, пьянчуга, усердно сотрудничавший в редактируемом мною журнале «Сигнал».

Вскоре мы очутились за столиком «Золотого якоря» — знаменитого кабака петербургских художников. Здесь Куприн наконец подтвердил данное мне обещание написать для нашего журнала рассказ:

— Название рассказа — «Гост».

II

Я обрадовался и встал, чтобы сейчас же уйти, но Куприн уговорил меня отправиться вместе с ним к какой-то сумасбродной англичанке, которая только что приехала в нашу страну и не знает ни слова по-русски. Чтобы их беседа

могла состояться, им обоим нужен переводчик, — так вот, не согласен ли я взять на себя эту роль?

Мы пошли через мост на Большую Морскую, а Маныч помчался вперед на извозчике — предупредить иностранную даму о нашем приходе.

Англичанка оказалась румяная, дородная, пышная, сдобная, отнюдь не похожая на иностранную даму. Вначале я отнесся к ней с самой простодушной доверчивостью и тщательно переводил Куприну ее в высшей степени сумбурные речи. Но не прошло и пяти минут, как она хихикнула, прыснула и убежала из комнаты.

Я понял, что сделался жертвою «розыгрыша».

Дама была русская, вдова одного моряка, с детства знавшая английский язык, о чем и сообщил мне Александр Иванович, когда увидел, что мистификация раскрылась.

По молодости лет я обиделся и перестал посещать Куприна.

Но дней через пять или шесть он прислал мне такое письмо, которое сохраняется у меня до сих пор:

«Милый Чуковский!

Это уж свинство. Из-за того только, что я «передержал» шутку — в чем и извиняюсь, — Вы к нам не заходите. И Мария Карловна и я по Вас соскучились. Если нет времени зайти, то хоть напишите, что не сердитесь.

Ваш душою

ауктор «Поединка» А. Куприн»¹

Не сомневаюсь, что извиниться передо мною побудила его молодая жена Мария Карловна, выросшая в

¹ Ауктор — по-латыни «автор».

высококультурной петербургской семье и пытавшаяся (по крайней мере на первых порах) привить ему учтивые манеры.

Нежно влюбленный в жену, Александр Иванович был рад (опять-таки на первых порах) добросовестно выполнять ее требования.

Но никогда не покидала его в те времена мальчишеская озорная любовь к проделкам и дурачествам всякого рода.

Помню, он объявил себя гипнотизером и медиумом и устроил на квартире у писателя Алексея Ивановича Свирского «астрально-спиритический сеанс». Оказалось, что ему ничего не стоит вызвать по желанию публики душу любого покойника: Наполеона, Екатерины Второй, Тургенева, Скобелева, Марии Стюарт, вплоть до министра Плеве, недавно убитого эсеровской бомбой. Душам покойников задавались вопросы. Большинство ответов усердно отстукивалось ножками большого стола, но иные из обитателей загробного мира предпочитали отвечать во весь голос.

На сеансе присутствовал критик Аким Волынский. Он пожелал побеседовать с духом немецкого философа Лессинга. Его желание было исполнено, но Лессинг, кроме одного-единственного слова «унзер», не мог произнести по-немецки ни звука. Зато поэт Надсон, вызванный по требованию его верной подруги, известной переводчицы Марии Валентиновны Ватсон, оказался так словоохотлив, что в конце концов даже охрип. То есть охрип, собственно, не он, а Маныч, который был тайным соучастником Александра Ивановича и произносил в темноте то дискантом, то густым баритоном все речи именитых мертвецов. Сеанс был оборудован так ловко, что присутствовавшая на нем поэтесса Изабелла Гринеvская громко оповестила всех нас, что с этого времени она твердо уверовала в бессмертие человеческих душ.

Подобным забавам Куприн предавался тогда с большим

аппетитом.

Пришел к нему в Одессе один репортер:

— Где и когда я мог бы проинтервьюировать вас?
Куприн посмотрел на него и ответил:

— Приходите сегодня же в Центральные бани... не позже половины седьмого.

И в тот же вечер, сидя нагишом перед голым газетным сотрудником, Куприн изложил ему свои литературные взгляды, после чего они оба, и репортер и Куприн, лихо отхлестали друг друга намыленным веником.

— И как тебе пришла в голову такая дикая мысль? — спросил у Куприна один из его одесских приятелей, Антон Богомолец.

— Почему же дикая? — засмеялся Куприн. — Ведь у репортера были такие грязные волосы, ногти и уши, что нужно было воспользоваться редкой возможностью снять с него копоть и пыль.

Иногда эти эксцентрические, озорные проделки имели более рискованный характер.

Рассказывают, что, приехав, например, в Балаклаву, Куприн послал «верноподданническую» телеграмму царю Николаю Второму, тоже проводившему лето в Крыму, и в этой телеграмме ходатайствовал, чтобы царь предоставил рыбацкому поселку Балаклаве права и привилегии вольного города².

Думаю, что это легенда. Такого случая быть не могло. Но все же чрезвычайно характерно, что о Куприне сочинялись именно такие легенды.

В то время, Александр Иванович производил впечатление человека даже чрезмерно здорового: шея у него была бычья, грудь и спина — как у грузчика; коренастый,

² Ник. Вержбицкий. Встречи с А. И. Куприным. Пенза, 1961 с. 68.

широкоплечий, он легко поднимал за переднюю ножку очень тяжелое старинное кресло. Ни галстук, ни интеллигентский пиджак не шли к его мускулистой фигуре: в пиджаке он был похож на кузнеца, вырядившегося по случаю праздника. Лицо у него было широкое, нос как будто чуть-чуть перебитый, глаза узкие, спокойные, вечно прищуренные — неутомимые и хваткие глаза, впитывавшие в себя всякую мелочь окружающей жизни.

Таким он запомнился мне в первые годы знакомства, когда я особенно часто бывал у него. В его маленькую рабочую комнату я всегда входил робко, трепеща от волнения, так как считал его (и считаю сейчас) одним из самых замечательных русских писателей, поднявшимся в своем бессмертном «Поединке» и в нескольких других произведениях до тех высот мастерства, изобразительной мощи и светлого гуманного пафоса, какие доступны лишь великим талантам.

Но вся моя робость исчезала мгновенно, едва только я входил к нему в комнату. Ему до такой степени была ненавистна всякая мысль о литературной иерархии, у него было столько живых интересов, не связанных с писательским цехом, что при каждом свидании с ним мне странным образом начинало казаться, будто мой любимый писатель Куприн, только что завоевавший себе всероссийскую славу, не имеет ничего общего с тем Александром Ивановичем, который вот сидит у себя в комнатенке без пояса, в линялой рубашке, надетой прямо на голое тело, мурлычет какую-то солдатскую песню и возится со своим затейливым «деревянным альбомом», стараясь во что бы то ни стало стереть с него огромную чернильную кляксу. Этот Александр Иванович стоит как-то в стороне от своей славы, от всех своих книг, и я, маленький, начинающий автор, чувствую себя с ним очень легко.

После первых же приветствий он требует:

— Ну-ка, возьмите перо... и пишите, что вздумается, хотя бы свою пародию на Бальмонта.

И придвигает ко мне «деревянный альбом».

Этим альбомом у него называется простой березовый некрашенный стол, на доске которого многие литераторы, большие и малые, оставили по нескольку строк: экспромты, остроты, афоризмы, стихи.

Кто из нас ни приходил к Куприну, каждого он просил написать на столе «что вздумается», а когда весь стол был заполнен автографами, он как-то вечером взвалил его на свою крепкую спину и пронес через весь Петербург к дому, где жил один удивительный немец, справлявший в тот вечер свои именины.

Взойдя по лестнице со столом на спине, Куприн остановился на одной из площадок и позвонил у дверей. Когда ему открыли, он молча поставил в прихожей свой «деревянный альбом», чем несказанно обрадовал немца, который высоко ценил именно такие сюрпризы.

Этот немец, Федор Федорович Фидлер (или ФФФ, а порою ФЗ, как подписывался он под шутливыми письмами), был страстным почитателем русской словесности и создал богатый домашний музей, где были собраны редкие рукописи современных и старинных писателей и всякие другие раритеты — вплоть до исторической палки, которой один разъяренный старик проучил газетного пасквилянта Буренина, того Буренина, о котором Минаев в свое время писал:

По Невскому бежит собака,
За ней Буренин, тих и мил...
Городовой, смотри, однако,
Чтоб он ее не укусил!

Именины Фидлера были писательским праздником: в тот день в его тесной квартире собралось человек тридцать

поэтов, беллетристов и критиков. Приходили и мы, молодые, к которым Фидлер относился с большой теплотой.

«Деревянный альбом» Куприна, испещренный автографами всевозможных писателей, чрезвычайно обрадовал Фидлера. Шутка ли: здесь были автографы Федора Батюшкова, Андрея Белого, Ивана Бунина, Скитальца, Ивана Рукавишникова, Вас. Немировича-Данченко, Семена Юшкевича, Алексея Сvirского, Ходотова, Тана-Богораза, Анатолия Каменского, Кармена-отца, Косоротова, Рославлева и самого Куприна³.

Мария Карловна и Александр Иванович жили тогда на Разъезжей, недалеко от Пяти углов. Черноглазая, жизнерадостная, остроумная женщина, Мария Карловна была необычайно привлекательна, и ее чуть хриловатый, насмешливый голос звучал задорно и победно. Она крепко верила в дарование мужа и твердой рукой направляла его.

Я познакомился с нею вскоре после того, как они поженились. «Поединок» еще не был доведен до конца. Существовали только начальные главы. Работу над окончанием повести Куприн откладывал с недели на неделю. И вот, чтобы побудить Александра Ивановича возможно скорее выполнить эту работу, Мария Карловна сказала ему, что они должны непременно разъехаться, куда он не закончит своего «Поединка»:

³ Доска от этого стола сохранилась. Сейчас она в Пушкинском доме. Федор Федорович Фидлер известен своими переводами на немецкий язык стихотворений Кольцова и Некрасова. По этим переводам, напечатанным в популярном лейпцигском издательстве «Реклам», германские читатели узнали обоих поэтов. По профессии Фидлер был педагогом: преподавал в гимназиях немецкий язык. Не знаю, сохранились ли дневники, которые он вел непрерывно в течение многих лет (на немецком языке). Он читал мне оттуда отрывки, представляющие немалый интерес.

— А до той поры я тебе не жена!

Эти слова подействовали на него чудотворно. Он снял себе комнатку где-то на Казанской улице, возле собора, и стал писать роман с удесyтеренной энергией.

Закончив главу, он тотчас же спешил на Разъезжую и что есть силы дергал за ручку звонка. Мария Карловна открывала дверь, но не совсем, а чуть-чуть, на цепочку, он просовывал ей новую главу, а сам оставался на лестнице. Проходило полчаса или больше, Мария Карловна внимательно прочитывала рукопись до самой последней строки и лишь тогда распахивала дверь.

— С влюбленными мужьями иначе нельзя, — говорил Александр Иванович. — Однажды мне до того не терпелось повидаться с женой, что я схитрил и подсунил ей старый отрывок, который она уже читала неделю назад. Она впопыхах не заметила, впустила меня, но с той поры стала так осмотрительна, что продерживала меня на лестнице целую вечность, потому что вчитывалась в каждое слово, чтоб опять не попасть впросак.

Вся эта история не была супружеской тайной. Вскоре после того, как «Поединок» появился в печати (и имел такой грандиозный успех), Куприн стал очень картинно, со множеством забавных подробностей рассказывать друзьям и знакомым, как он дописывал последние главы повести и какую благодатную роль сыграла в этом деле Мария Карловна. Рассказывал при ней, за обедом, или, вернее, рассказывали они оба, перебивая и дополняя друг друга, потому что, как и многие молодые супруги, они часто говорили зараз об одном и том же, в одном и том же стиле, с одинаковым выражением лиц и смеялись одинаковым смехом.

III

Куприн исполнил свое обещание. Вскоре, к моей неопишуемой радости, я получил его «Гост», фантастическую новеллу о том, что будет через тысячу лет, когда человечество после кровавых революций и войн наконец-то станет единой семьей и дострадается до векового счастья.

Конечно, представление Куприна о техническом прогрессе, к которому придет человечество через тысячу лет, кажется теперь очень наивным. Самое большее, чего, по его догадке, достигнут мудрецы инженеры в 2906 году, — это превращение земного шара в гигантскую электромагнитную катушку и создание двух аппаратов, чрезвычайно похожих на телевизор и радио. За каких-нибудь полвека с тех пор, как Куприну пришла в голову эта фантазия, техника шагнула вперед едва ли не дальше чем за тысячу лет, которую он отвел ей в рассказе.

Впрочем, не развитие техники занимало писателя. Главная тема рассказа: прославление революционных героев, гибнущих в неравной борьбе ради счастья своих далеких потомков. Эти далекие потомки, утверждает Куприн, с благодарностью вспомнят революционных бойцов, которые для них, для потомков, завоевали счастливую жизнь. «Вечная память, — скажут они, — вечная память вам, безмолвные страдалцы. Когда вы умирали, то в прозорливых глазах ваших, устремленных в даль веков, светилась улыбка. Вы увидели нас, освобожденных, сильных, торжествующих, и в великий миг смерти посылали нам свое благословение!»

А иные из этих счастливых потомков вспомнят революционных героев не только с благодарностью, но и с мучительной завистью — с завистью к их трагической участи:

— А все-таки... все-таки... — восклицает в рассказе женщина ХХХ века, — как бы я хотела жить в то время... с ними... с ними...

Революция в ту пору сильно увлекала Александра Ивановича. Недаром его «Поединок» прозвучал для читательских масс как набатный призыв к восстанию, — столько было в нем ненависти к бесчеловечному строю.

В своем позднейшем рассказе «Гамбринус» он такими красками изображает 1905 год:

«Настали какие-то светлые, праздничные, ликующие дни, и сияние их озаряло даже подземелье Гамбринуса. Приходили студенты, рабочие, приходили молодые, красивые девушки. Люди с горящими глазами становились на бочки, так много видевшие на своем веку, и говорили. Не все было понятно в этих словах, но от той пламенной надежды и великой любви, которая в них звучала, трепетало сердце и раскрывалось им навстречу... Встречались совсем незнакомые люди и вдруг, светло улыбнувшись, пожимали руки друг другу...»

Тогда же, в 1905 году, ненависть к старому строю выразилась сильнее всего в его гневной статье «События в Севастополе» — о преступлении адмирала Чухнина, который в 1905 году разбомбил в Севастопольской бухте крейсер «Очаков» и с идиотской жестокостью сжег живьем на глазах у всего города несколько сот матросов, поднявших на крейсере восстание. Куприн, видевший этот страшный костер, тотчас же описал его в газетной статье, после чего был изгнан властями из Крыма и привлечен к уголовной ответственности. Но прежде чем уехать в Петербург, он успел спрятать от царской полиции десятерых очаковских матросов, которые чудом спаслись с подожженного крейсера⁴.

⁴ А. И. Куприн. Собр. соч. в шести томах, т. 5. М., 1958, с. 774–775; т. 6, с. 575–579.

«Тост» Куприна появился во втором выпуске нашего журнала 18 января 1906 года.

Конечно, знаменитый писатель мог поместить свой рассказ в каком-нибудь более солидном издании. Предоставив его нашему журналу, он оказал мне большую поддержку, о которой я и теперь, через шестьдесят лет, не могу не вспомнить с живейшей признательностью.

К тому времени издание «Сигнала» было уже прекращена полицейскою властью, и мы стали выпускать его под новым названием «Сигналы», пригласив подставного редактора — журналиста Владимира Турока.

А я, как редактор «Сигнала», был привлечен к суду «за оскорбление величества», «за подрывание основ государства» и другие столь же тяжкие грехи (по 103, 106, 128 и 129-й статьям уголовного уложения).

Меня арестовали, посадили в тюрьму («Предварилку»), и, если я провел в заточении всего только десять дней, это произошло оттого, что Мария Карловна по инициативе Александра Ивановича явилась, к моему следователю Цезарю Ивановичу Обух-Вощатынскому и внесла за меня колоссальный залог — десять тысяч рублей из средств издаваемого ею журнала. Когда я пришел на Разъезжую, чтобы поблагодарить Куприных, они, не желая выслушивать изъяснения моей пылкой признательности, принялись уверять — в своем обычном насмешливом стиле, — что очень боятся, как бы я не сбежал от суда за границу:

— Тогда пропадут наши денежки! А чтобы мы были спокойны и знали, что вы не в Берлине, извольте приходите к нам почаще обедать!⁵

⁵ Около этого времени привлеченный к суду поэт Н. М. Минский, за которого артистка Л. Б. Яворская (она же княгиня Барятинская) внесла несколько тысяч рублей залогом, тайно уехал в Берлин, и залог

IV

Сам Александр Иванович приходил к обеду далеко не всегда. Вдруг ему почудится, что он недостаточно знает какие-нибудь важные подробности из жизни петербургских цыган, и он на целые сутки застрянет в их таборе, то вдруг заподозрит, что тот осанистый тамбовский помещик, с которым он на днях познакомился у стойки в ресторане Доминика, есть на самом деле прославленный шулер, и он решит проверить свой домысел и просидит, не сходя со стула, в прокуренном притоне картежников семь или восемь часов, следя за каждым движением заподозренного им игрока.

«Нередко в продолжение недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, выслеживал его с упорством страстного охотника или добровольного сыщика, — читаем в одном из купринских рассказов о некоем петербургском писателе, в образе которого он вывел себя. — Случалось, что такой добычей оказывался, по его собственному выражению, какой-нибудь «рыцарь из-под темной звезды», — ...известный плагиатор, сводник, альфонс, графоман, ужас всех редакций, — зарвавшийся кассир или артельщик, тратящий по ресторанам, скачкам и игорным залам казенные деньги с безумием человека, несущегося в пропасть... жокеи, атлеты, входящие в моду кокотки...»⁶

Рассказ, из которого я беру эти строки, называется «Штабс-капитан Рыбников». Там выведен японский шпион, искусно играющий роль русского штабс-капитана.

Яворской пропал.

⁶ А.И. Куприн. Собр. соч. Т. 4, М., 1958, с.18.

На самом деле шпионом он не был. Я хорошо его помню: встречался с ним и в ресторане «Давыдки», и в квартире Куприных на Разъезжей, и во Владимирском соборе, куда Александр Иванович водил его, желая проверить, умеет ли он креститься по-русски. Его так и звали: Рыбников. Лицо у него было желтое, глаза раскосые, монгольского типа. Куприн из озорства стал уверять, будто Рыбников японский самурай, напяливший на себя русский мундир. А потом и сам поверил в свое измышление и целый месяц не отставал от злополучного штабс-капитана, уговаривая и прямо-таки умоляя его, чтобы тот признал себя переодетым японцем. Но Рыбников только посмеивался в свои редкие черные «японские» усики, охотно позволяя Александру Ивановичу платить за него по ресторанным счетам. Был он щуплый, суетливый, весь издерганный, с какой-то кривою ухмылкой.

Помню жадные, молодые глаза Александра Ивановича, которыми он за трактирным столом зорко вглядывался в своего собеседника: то в этого Рыбникова, то в огненно-рыжего летчика Уточкина, то в грузного, мрачного, как бы удрученного своей сверхъестественной силой атлета Ивана Поддубного, то в попа-расстригу Леонида Корецкого.

Особенно запомнились мне его своеобразные отношения с Уточкиным. Приезжая в Питер, знаменитый спортсмен всегда останавливался в гостинице «Франция», недалеко от арки Генерального штаба, и тотчас по приезде торопился встретиться с Александром Ивановичем, причем меня всегда удивляло, что Уточкин, сидя с Куприным за каким-нибудь трактирным столом, говорил не столько о спорте, сколько о литературе, о Горьком, о Джеке Лондоне, о своем любимом Кнуде Гамсуне, многие страницы которого он знал наизусть, и, несмотря на страшное свое заикание, декламировал с большим энтузиазмом, а Куприн отмахивался от этих литературных сюжетов и переводил разговор на велосипедные гонки, на цирковую борьбу, на самолеты и

моторные яхты. Если послушать со стороны, можно было подумать, что Куприн — профессиональный спортсмен, а Уточкин — профессиональный писатель.

Такой жгучий интерес испытывал Александр Иванович не только к работе спортсмена, но буквально ко всякой работе.

Вечно его мучила жажда исследовать, понять, изучить, как живут и работают люди всевозможных профессий — инженеры, фабричные, шарманщики, циркачи, конокрады, монахи, банкиры, шпики, — он жаждал узнать о них всю подноготную, ибо в изучении русского быта не терпел никакого полужнания, никакой дилетанщины и почувствовал бы себя глубоко несчастным, если бы вдруг обнаружилось, что ему неизвестна какая-нибудь бытовая деталь из жизни, скажем, водолазов или донских казаков. Не было такой жертвы, которой бы он не принес, чтобы изучить доскональное всю, как теперь говорится, специфику той или другой человеческой деятельности.

В 1902 году в Одессе газетный репортер Леон Трецек познакомил его с начальником одной из пожарных команд. Куприн воспользовался этим знакомством, и, когда в центре города на Екатерининской улице загорелся среди ночи набитый жильцами дом, Куприн в медной каске помчался туда вместе с отрядом пожарников и работал в пламени и в дыму до утра.

Бывший типографский рабочий, ныне пенсионер, И. М. Горшков прислал мне из украинского города Ивано-Франковска живо написанные воспоминания об А. И. Куприне, с которым он мальчиком встречался в Одессе. В этих воспоминаниях наиболее интересен рассказ о том, как Александр Иванович пришел в типографию местной газеты для изучения техники типографского искусства.

«Однажды во время обеденного перерыва

смотрю — у кассы рядом с дядей Васей стоит Александр Иванович и обучается наборному делу.

— Вот здесь, — говорит дядя Вася, указывая на шрифт-кассу, — имеется сто десять гнезд, в которых размещаются шрифты. Куприн не записывает, а запоминает расположение шрифта.

— А это, — продолжает дядя Вася, — антиква, особый вид типографского шрифта. А это — бабашка, крупный пробельный материал. Запишите...

— Не надо, — отвечает Куприн. — Я так запомню. Давайте дальше.

— А вот это боргес — шрифт размером в девять пунктов. И т. д.

Так в течение двух обеденных перерывов Александр Иванович постиг специальность наборщика. Смотрим однажды, у кассы-реал стоит грузный наборщик и набирает статью. Подходим ближе, всматриваемся — старый знакомый, Куприн.

— Не бойтесь, — говорит он. — Штрейкбрехером никогда не был и не буду. В жизни все надо уметь. Писать лучше будешь, если будешь знать тяжелый труд наборщика».

«Мне довелось видеть Александра Ивановича рыбаком, пожарным и грузчиком», — заканчивает свои воспоминания И. М. Горшков.

Говорят, что однажды Куприн захотел испытать, как чувствует себя профессиональный грабитель, забравшийся ночью в чужую квартиру. «Выбрал место и время, отобрал вещи, уложил их в чемодан, но вынести их не хватало решимости». Не сомневаюсь, что и это — легенда, но опять-таки очень характерная.

Чтобы изучить досконально промысел рыбаков-«лестригонов», он целыми сутками «пропадал» вместе с ними на утлых баркасах среди бурного моря,

ежечасно грозящего гибелью.

Его требования к себе, как писателю-реалисту, изобразителю нравов, буквально не имели границ. Оттого-то и произошло, что с жокеем он умел вести разговор, как жокей, с поваром — как повар, с матросом — как старый матрос. Он по-мальчишески щеголял этой своей многоопытностью, кичился ею перед другими писателями (перед Вересаевым, Леонидом Андреевым), ибо в том и заключалось его честолюбие: знать доподлинно, не из книг, не по слухам, те вещи и факты, о которых он говорит в своих книгах.

Про чахлого и глуховатого М. П. Арцыбашева, прославлявшего в своих произведениях радости здорового и могучего тела, Куприн говорил убежденно:

— Не может быть хорошим беллетристом близорукий и глухой человек, страдающий к тому же хроническим насморком.

У него у самого было обоняние звериное, и в своих рассказах он никогда не забывал отмечать, что, например, лавки торгового ряда пахнут кумачом, керосином и крысами;

а комнаты старого клуба — кислым тестом, карболкой и сыростью;

а морская вода во время прибоя — резедой;

а свежие девушки — арбузом и парным молоком;

а белая акация — конфетами;

а прихожая перед балом в офицерском собрании, когда в нее съезжаются нарядные женщины, — морозом, духами, пудрой и лайковыми перчатками.

И вот запах другой прихожей: «Пахло яблоками, нафталином, свежелакированной мебелью и еще чем-то особенным, не неприятным, чем пахнут одежда и вещи в зажиточных, аккуратных немецких семействах».

По части запахов у Куприна был единственный соперник — Иван Алексеевич Бунин, и, когда они сходились вдвоем, между ними начиналось состязание — азартная

веселая игра: кто определит более точно, чем пахнет католический костел во время пасхальной заутрени, чем пахнет цирковая арена, и т. д. и т. д. и т. д.

Помню, в Одессе на приморской даче писателя Александра Митрофановича Федорова Куприну устроили своеобразный экзамен. Подали несколько маленьких дынь и предложили распознать по их вкусу и запаху, не глядя на их кожуру, к какому сорту принадлежит каждая дыня.

Он нюхал и пробовал каждую с видом ученого дегустатора и отвечал безошибочно:

— Это Виктория, а это Бельгард, — и так дальше, чем вызвал восхищение присутствующих, среди которых были такие ценители, как художник Костанди, артист Закушняк и старый передвижник, друг Репина, Николай Дмитриевич Кузнецов⁷.

И зоркость была у него замечательная. Об одной красавице он пишет, что ее черные ресницы бросали *синие* тени на *янтарные* щеки.

И вот каким образом, по его наблюдению, чаще всего распределяются краски теплого южного моря: сначала «грязная лента светло-каштанового цвета», дальше — «жидкая зеленая полоса, вся сморщенная, вся изборожденная гребнями волн, и, наконец, — могучая, спокойная синева глубокого моря с неправдоподобными яркими пятнами, то *густо-фиолетовыми*, то *нежно-малахитовыми*, с неожиданными блестящими кусками, похожими на лед, занесенный снегом».

Его неутомимое, жадное зрение доставляло ему праздничную радость: «Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно, прелестно зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве».

⁷ См. рассказ Куприна «Канталупы». Собр. соч., т. 5, с. 528–538.

Он накапливал такие наблюдения как некие великие ценности и щеголял ими в своих разговорах, особенно с молодыми писателями.

Помню его постоянные схватки с задорным и самонадеянным Сергеевым-Ценским по поводу изменчивого цвета теней на снегу — ночью под луной и днем под солнцем. При всякой встрече они спорили об этом, и мне всегда казалось, что победитель в этом состязании Куприн, хотя Ценский — такой уж у него был счастливый характер! — никогда не признавал себя побежденным ни в чем.

Вообще Куприн был чудесно вооружен всевозможными практическими знаниями: знал толк в лошадях и собаках, мог часами говорить о своих наблюдениях над рыбами, деревьями, птицами, пчелами, отлично разбирался в самоцветах и драгоценных камнях.

У меня до сих пор сохраняется подписанный Александром Ивановичем документ об одном самоцвете, принадлежавшем артистке М. С. Марадудиной. Артистка уверяла, что камень — сапфир, Куприн утверждал, что она ошибается. По этому случаю он продиктовал мне такую бумагу:

«Пари между А. И. Куприным и М. С. Марадудиной.

Он, Куприн, утверждает, что камень, который она, М. С. Марадудина, носит на пальце, — желтый топаз. Она же в дерзостном и яростном ослеплении утверждает, что камень этот — желтый сапфир.

Выигравший требует с проигравшей стороны все, что хочет».

Ниже — рукой Куприна:

«Сие моей подписью удостоверяю.

А. Куприн».

Нужно ли говорить, что пари было выиграно им: экспертиза установила, что камень Марадудиной не сапфир, а топаз. Пари состоялось в одном из модных игорных домов, где Куприн пропадал целыми сутками.

Одно время он очень любил «пропадать» в разных отечественных и заезжих зверинцах, подолгу простаивая перед клетками тигров, павианов и львов, изучая их повадки и нравы. Недаром Анатолий Дуров, знаменитый укротитель зверей, основатель династии нынешних Дуровых, печатал в своих афишках, посвященных зверям:

Сам Куприн-писатель
С ними был приятель.

Помню, как впоследствии Куприн изучал обитательниц «Ямы» в Кузнечном переулке, недалеко от того дома, где жил Достоевский, с таким азартом, с таким любопытством, словно он первооткрыватель какой-то неизвестной страны, словно никто никогда не видал этих ям, словно на свете и не существует ничего интереснее, чем быт всевозможных Александрин и Тамар. Таким образом, к нему вполне применимы те самые слова, какие сказал он о Киплинге:

«Ему знакомы мельчайшие бытовые черты из жизни офицеров, чиновников, солдат, докторов, землемеров, моряков; он знает самые сложные подробности сотен профессий и ремесел; ему известны все тонкости любого спорта; он поражает своими научными и техническими познаниями. Но он никогда не утомляет своим огромным багажом. Он лишь пользуется им в такой мере и так искусно, что вы готовы поверить, что именно сам Киплинг ловил

треску вместе с рыбаками на севере Атлантического океана, и нес службу на маяке, и метался в жестокой индийской лихорадке... и строил мосты, и вел, как машинист, железнодорожные поезда, и т. д. и т. д. А в этом доверии заключается одна из тайн поразительного обаяния его рассказов и его большой и заслуженной славы»⁸.

V

*А. Куприн! будь дружен с лирой
И к тому — не «циркулируй»!*
Скиталец

Вполне естественно, что человек с такими вкусами, интересами, склонностями не мог вести размеренную семейную жизнь: аккуратно являться к столу и каждый вечер возвращаться в определенное время домой.

«Чем больше я узнавал его, — вспоминает Бунин, — тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало, с бесшабашностью человека, которому все трын-трава...»⁹.

Мария Карловна не угнетала его слишком жесткими требованиями, но в конце концов стало очевидным для всех, что Александр Иванович не может, да и не желает стеснять себя узкими рамками «приличного общества».

⁸ А. И. Куприн. Собр. соч., т. 6, с. 612.

⁹ И. А. Бунин. Повести. Рассказы. Воспоминания. М., 1961, с. 593.

Так приманчива была для него скитальческая, свободная от всякого регламента жизнь, что, если бы даже он не был писателем, он все равно «циркулировал» бы от балаклавских «лестригонов» к киево-печерским монахам, из сумасшедшего дома в игорный притон. И все равно не мог бы обойтись без «Золотого якоря», «Капернаума» (он же «Давыдка») и «Вены», где его все тесней окружала всякая трактирная «шпана».

Мария Карловна в своих воспоминаниях пишет, что в конце концов его «адъютантами» стали сотрудники мелких бульварных газет и хулиганского «Синего журнала»¹⁰. Все больше он сходил с такими людьми, как критик Петр Пильский, поэт Александр Рославлев, газетный фельетонист Федор Трозинер, эти загубленные водкой писатели. Пильский был темпераментный и бойкий писатель, отлично владевший пером, но бретер, самохвал, забияка, кабацкий драчун. Трозинер в свое время тоже блистал дарованиями, но в те годы, когда я познакомился с ним, был безнадежно большой алкоголик, давно уже махнувший рукой и на себя и на свое литературное поприще. Даже псевдоним у него был спиртуозный: Сэр Пич Брэнди (брэнди — по-английски коньяк). Рославлев, третьестепенный эпигон символистов, не бывал трезвым уже несколько лет. Больно было видеть среди этих людей Куприна, отяжелевшего, с остекленелым лицом. Он грузно и мешковато сидел у стола, уставленного пустыми бутылками, и разбухшая, багровая шея мало-помалу становилась у него неподвижной. Он уже не поворачивал ее ни вправо, ни влево, весь какой-то оцепенелый и скованный. Только его необыкновенно живые глаза ни за что не хотели потухнуть, но потом тускнели и они, голова опускалась на стол, и он погружался на долгое время в мутную, свинцовую

¹⁰ М. Куприна-Иорданская. Годы молодости. М., 1966, с. 153.

полудремоту. Для меня всегда оставалось загадкой, почему человек, безбоязненно входивший в клетку к тиграм, не может вырваться из пьяной, забубённой среды и преодолеть ее жестокое влияние.

Обыватели злорадно глумились над этой слабостью большого писателя. По городу в то время ходили стишки:

1

Если истина в вине,
Сколько истин в Куприне!

2

Водочка откупорена
Плещется в графине.
Не позвать ли Куприна
По этой причине?

Карикатурист Ре-Ми на знаменитой сатириконской картине «Салон ее светлости русской литературы» изобразил Александра Ивановича бражником, которому в пьяном бреду примерещился чертик (в облике писателя Алексея Ремизова).

Зато каким становился он просветленным и бодрым, когда ему хотя бы на несколько дней удавалось стряхнуть с себя весь этот трактирный угар и любовно приобщиться к природе!

Раза три я встречал его в «Пенатах» у Репина, перед которым он благоговел с малых лет. Всласть наговорившись с художником, он долго бродил по его цветущему саду и, как выздоравливающий, радовался каждой травинке.

Как-то в летнее время, обедая у Репина в саду, один из гостей нечаянно опрокинул бокал с лимонадом. Лимонад разлился по клеенке, покрывавшей обеденный стол. (Жена

Репина, Наталья Борисовна Нордман, считала скатерти излишнею роскошью.) Не успели гости отойти от стола, как с дерева спрыгнула белка и стала вылизывать пролитый лимонад. Это лакомство ей очень понравилось. С тех пор Илья Ефимович, покончив со своей скромной едой, никогда не забывал выплескивать на стол немного лимонада — для белки.

Узнав об этом, Александр Иванович восторгнулся, оживился, обрадовался, словно ему рассказали о каком-то фантастическом чуде, и поспешил по-мальчишески притаиться в кустах, чтобы увидеть своими глазами зверька, совершающего набег на репинский стол. (Впоследствии в одном из своих писем ко мне он вспомнил о репинской белке и даже обещал написать о ней рассказ для детей.)

— До чего бы я хотел побывать этой белкой и сигать вот этак по макушкам деревьев! — сказал он с печальным вздохом, следя за молниеносными полетами белки в листве.

Я вспомнил это восклицание Александра Ивановича, прочтя у него в повести через несколько лет:

«Я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбою или побыть женщиной и испытать роды».

А зимою в той же Финляндии в морозный и солнечный день Александр Иванович отправился вместе со мною по гладкому, ослепительно сверкавшему насту залива на лыжах под парусом, и, хотя до той поры ему никогда не случалось пользоваться парусом для лыжного спорта, он сразу же, как истый спортсмен, усвоил всю технику этого дела и молодецки понесся вперед по направлению к Кронштадту¹¹.

¹¹ Жаль, что в настоящее время этот спорт у нас не в чести. Лыжи

Здесь, на природе, вдали от городских искушений, он воскресал и светлел, и я видел в нем бывшего Куприна, художника, упоенного жизнью, сжигаемого любопытством ко всему, что творится вокруг.

В то время меня увлекала мечта о создании подлинной, художественно ценной литературы для маленьких. Лет за пять до того я упросил Алексея Толстого, Сергеева-Ценского, Сашу Черного и других «молодых» участвовать в редактируемом мной альманахе «Жар-птица», выходявшем в издательстве «Шиповник». О том же я просил и Куприна, но тогда он был поглощен своей «Ямой» и не написал ничего.

Теперь я возобновил мою просьбу, и он очень скоро откликнулся: прислал для детского журнальца, который выходил тогда при «Ниве», рассказ «Козлиная жизнь». Рассказ очень понравился мне, о чем я и написал Куприну. В ответ он прислал мне такую открытку:

«Sir!

Письмо Ваше о «Козле» меня тронуло. Но до сих пор козлиных следов не вижу. А то бы давно уже прислал еще что-нибудь. Да что Вам в самом деле не проехать в Гатчино? Поглядите моих зверей, погуляем по парку. Может быть, мою лодку к тому времени подчинят. А я приеду за то к Вам и вместе пойдем приветствовать Старика в одну из сред.

Ваш А. Куприн.

1917.2.V. Гатчино».

Письмо не требует больших комментариев. «Сэр»

для него нужны особенные — на узеньких железных полозьях, чтобы они не расплзались на льду. Парус натягивается на длинные бамбуковые палки, связанные бечевкой крест-накрест, между ними перекладина, за которую вы и хватаетесь, приладив парус у себя за спиной.

Куприн называл меня потому, что незадолго до этого я совершил путешествие в Англию. Рассказ «Козлиная жизнь» был напечатан не сразу, этим и объясняются слова Куприна: «козлиных следов не вижу». Стариком (с большой буквы) он всегда именовал И. Е. Репина.

Вскоре после того как я напечатал «Козлиную жизнь», Куприн прислал мне такое письмо (к сожалению, без даты):

«Дорогой Корней Иванович.

Будьте благодетелем: вышлите мне номера два журнала с «Козлиною жизнью». Тот экземпляр, что Вы мне прислали на редакцию, у меня кто-то ужулил, а «Нивы» я так и не получил.

Передайте мой глубокий поклон Старика, — Ваши слова об его отношении ко мне меня тепло растрогали. А я не из чувствительных.

Ваш сердечно А. Куприн.

Сколько у меня сире-е-е-ни!!!»

VI

Так и запомнились мне два Куприна: один — отравленный вином, опустившийся, другой — бодрый, неутомимый, талантливый, молодо шагающий по своему гатчинскому весеннему саду, среди великолепных кустов буйно цветущей сирени. И с ним два сенбернара огромного роста, которых в своей записке ко мне он любовно называет «зверьями». (Зверь в его устах — похвала.) Однажды сюда, в его гатчинский сад, въехал уральский казак на своем норовистом коне.

Сухой и горбоносый,
Хорош казачий конь!
Зрачки чуть-чуть раскосы.

Не подходи, не тронь!

Все глядели на казачьего коня издалека, с опаской. Но Куприн подошел к нему спокойный, уверенный.

...Погладил темя,
Пощекотал чело
И вдруг привстал на стремя,
Упруго влип в седло...
Всем телом навалился,
Поводья в горсть собрал, —
Конь буйным чертом взвился,
Да, видно, опоздал!
Не рысь, а сарабанда.
А гости из окна
Хвалили дружной бандой
Посадку Куприна...

Эти стихи написал Саша Черный, старый друг и почитатель Александра Ивановича. История с казачьим конем произошла у него на глазах. В том же стихотворении поэт называет Куприна могучим «приземистым» дубом, так как многим в ту пору казалось, что душевные и физические силы писателя все еще не изменили ему.

Куприн с величайшей симпатией относился к Саше Черному и к его стихам. Часто декламировал вслух:

Губернатор едет к тете.
Нежны кремовые брюки.
Присяжная на отлете
Вытанцовывает штуки.

И те стихи, которые так любил Маяковский:

Склонив хребет, галантный дирижер
Талантливо гребет обеими руками...

Позже, уже в эмиграции, он написал о Саше Черном — тотчас же после смерти поэта — горячую и нежную статью¹². Мало кому известно, что Куприн и сам был очень неплохим стихотворцем. Стихи сочинял он на все случаи жизни, главным образом шуточные экспромты: басни, эпиграммы, всевозможные «юморески», пародии. Лирика плохо удавалась ему; всем другим жанрам он предпочитал сатиру. Думаю, что, если бы собрать все стихи, написанные Куприным с юных лет, получилась бы книга изрядных размеров.

В 1914 году в первые же недели войны он перевел язвительное стихотворение Гейне о предках кайзера Вильгельма Второго, войска которого только что вторглись в Россию. Этот перевод он тогда же собственноручно вписал в мой альманах «Чукоккала».

Дворцовая легенда Гейне

Есть в Берлине в замке старом
Группа в мраморе одна:
С жеребцом, пылая жаром,
Пала некая жена.

Говорят, что эта дама
Забрюхатела, и вот
Возвеличился из срама
Королевский прусский род.

Чистокровный прародитель
Оказался молодцом, —
Каждый прусский повелитель

¹² Статья напечатана в газете «Возрождение», 1933, № 2625. Озаглавлена «Саша Черный». Подпись: А. Куприн. Саша Черный еще в 1910 году посвятил Куприну стихотворение «Первая любовь».

Так и смотрит жеребцом.

Речи их текут из стойла,
Смех их — ржанье, мыслей — нет,
Вся их жизнь — жранье и пойло,
Человека — вымер след.

Перевел А. Куприн

1 сентября 1914 ¹³

Перевод сделан сразу, в один присест. Вообще Куприн писал и стихи, и статьи, и рассказы очень быстро, без всякой натуги — тонким, легким, стремительным почерком. Писать он мог при всяких условиях, в любой обстановке, примостившись к окну вагона или к уголку трактирного стола. И часто бывало, что те страницы, которые написаны им впопыхах, оказывались у него наиболее насыщены свежими, полновесными, четкими образами. Эта завидная легкость работы досталась ему нелегко: не забудем, что, перед тем как добиться ее, он прошел многотрудную школу газетной поденщины.

¹³ Чтобы прусская цензура пропустила этот памфлет на Гогенцоллернов в печать, Гейне озаглавил его «Романская сага»; место действия перенес из Берлина в Турин и прусских королей назвал сардинскими. Существует несколько русских переводов памфлета: перевод О. И. Морозова (озаглавлен «Легенда замка»); перевод О. Румера — «Романская сага» (см. Генрих Гейне. Избранные произведения в двух томах. Под редакцией и с комментариями Ал. Дейча, т. 1. М. 1956, с. 271–272). Перевод А. И. Куприна довольно близок к подлиннику.

VII

Все же такая торопливость работы не могла не повредить ее качеству. Нередко бывало, что в самую гущу глубоко продуманных и тщательно взвешенных образов вдруг прорвется нежданно-негаданно какой-нибудь дикий ляпсус, который меньше всего ожидаешь от писателя, вооруженного такими точными знаниями.

Один из подобных ляпсусов встретился мне в «Поединке». Мария Карловна вспоминает об этом случае в своих мемуарах. Она рассказывает, что зимой 1906 года, уже после того, как «Поединок» вышел третьим или четвертым изданием, я спросил у Александра Ивановича:

— С каких же это пор голуби стали зубастыми?

— Не понимаю, — недоуменно пожал плечами Куприн.

— Однако голубь ваш несет письмо госпожи Петерсон в зубах.

— Не может быть, — рассмеялся Александр Иванович. Взяли книгу, проверили, оказалось, что в знаменитой повести голубь и вправду зубастый.

— Ведь вот бывает же такая ерунда, которую сам совершенно не замечаешь! — смеялся Александр Иванович¹⁴.

И это не единственный случай. В одном его рассказе, напечатанном в «Петербургской газете», меня поразила такая строка:

«Вся сосна (или ель) затрепетала листочками...»

Трудно было понять, как это могло произойти, что проникновенный изобразитель Полесья, автор таких повествований о лесе, как «Болото», «На глухарей», «Лесная глушь», человек, который до тонкости знал биографию каждого дерева, пня и куста, оказался так невзыскателен к

¹⁴ М. Куприна-Иорданская. Годы молодости, с. 153.

своему дарованию, что присвоил хвойному дереву листья!

Я написал о купринских «еловых листочках» в укоризненной газетной статейке. Куприн не обиделся и в свое оправдание сказал благодушно, что для «Петербургской газеты» вряд ли стоило особенно стараться: это ведь не «Русское богатство». Здесь печальная особенность его литературной работы. Первоклассный художник, лучшие произведения которого были встречены горячими хвалами Льва Толстого и Чехова, он в то же время считал себя вправе сочинять десятки легковесных вещей, выпадающих в банальную риторику, в дешевый шаблон.

В эпоху реакции 1907–1913 годов в Петербурге разрослась чертополохом крикливая и беспринципная желтая пресса, начисто порвавшая с героическими традициями недавнего прошлого: «Аргус», «Журнал журналов», «Синий журнал», «Весна» и многие другие. Мамин-Сибиряк, Короленко и Горький отнеслись к этой прессе враждебно. Куприн же, вышедший из низов бесшабашной газетной богемы, почувствовал здесь родную стихию и стал охотно поставлять низкопробным бульварным изданиям развлекательное, пустозвонное чтиво, словно он не автор «Поединка», «Реки жизни», «Изумруда», замечательной «Свадьбы»¹⁵, «Гамбринуса», а какой-нибудь микроскопический Брешко-Брешковский или Анатолий Каменский.

Среди них он был словно кит среди мелкой рыбешки, но рыбешка слишком тесно окружила — и в конце концов поработила — его. Он стал рьяным участником всех ее литературных затей, рассчитанных на громкую сенсацию, и, когда она вздумала создать коллективный уголовный роман

¹⁵ «Свадьба» — лучший рассказ Куприна, почему-то остается до сих пор незамеченным.

«Три буквы», без дальних раздумий вступил в эту пеструю артель.

Биограф писателя сообщает, что именно в этот период Куприным написаны такие мелкотравчатые, построенные на анекдотах рассказы, как «Неизъяснимое», «Люция», «Сила слова», «Заклятье», «Удав»¹⁶. В этих рассказах писатель дал полную волю всегдашнему своему тяготению к эксцентрическим, пряным, курьезным, внешне эффектным (хотя бы и неправдоподобным) сюжетам.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы только в тогдашних рассказах он изменял своему дарованию: ведь и раньше и после, даже в наиболее серьезных вещах, написанных в строго классической, толстовско-чеховской манере, он порою поддавался соблазну соскользнуть в безвкусную мелодраму, в банальщину. (Самый наглядный пример — роман «Яма», где чрезвычайно рельефно представлены и взлеты и падения его мастерства.)

Не забудем, что даже в этот период он сохранил непримиримую ненависть к «свинцовым мерзостям» российской действительности и продолжал обличать их со свойственным ему сосредоточенным и сокрушительным гневом (в рассказах «Анафема», «Черная молния» и др.).

А если вспомнить при этом, что рассказ «Анафема», клеймивший лицемерных церковников, был напечатан в развлекательном издании «Аргус», станет ясно, что ни о каком нравственном падении Куприна не могло быть и речи (как толковали о том во многих литературных кругах). Политический индифферентизм той растленной среды, с которой он связал свое имя, в очень малой степени отразился на нем.

¹⁶ В. Афанасьев, А. И. Куприн. Критико-биографический очерк. М., 1960, с. 124.

Осенью 1911 года я посетил его в Гатчине. Никогда я раньше не видел его таким обескураженным и грустным: незадолго до этого один литературный наездник, Фома Райлян, принадлежавший к той самой компании, с которой Куприн так охотно якшался, напечатал о нем такой оскорбительный пасквиль, что в припадке негодования писатель вызвал клеветника на дуэль. Райлян отказался драться, и это вызвало новый скандал. Враги заговорили об «офицерских замашках» Александра Ивановича (автор «Поединка» — дуэлянт!!!).

Я застал у него художника Щербова, знаменитого карикатуриста, который среди разговора извлек из кармана широких штанов бутылку английской горькой. Этикетку для этой бутылки, разноцветную, очень затейливую, изготовил, как потом оказалось, сам Щербов, и на ней замысловатую вязью, среди всяких прихотливых орнаментов было выведено слово «Купринская».

Щербов (бородатый чудак, смесь художника, дикаря и ребенка) с величайшей нежностью, которая была для меня неожиданной, утешал приунывшего друга, стараясь отогнать от него печальные думы.

— Обгазуются! — говорил он, картавя, и снова доставал свою бутылку.

Не помню, в этот ли раз или позже, я застал в Гатчине у Александра Ивановича его лучшего и вернейшего друга, профессора Федора Батюшкова, чрезвычайно удрученного всей этой дуэльной историей. Батюшков, рыцарски преданный Куприну еще с давних времен, был его опекуном, его заступником, ангелом-хранителем, нянькой, вызволял его из всяких передраг. Отличный человек (только чуть-чуть скучноватый), он вообще сыграл благотворную роль в жизни Александра Ивановича. Если память мне не изменяет, он-то и удержал Куприна от опрометчивой расправы со скандалистом Райляном.

Но скандал и без того был велик.

Как мы знаем теперь, скандал этот произвел очень тяжелое впечатление на Горького:

«Измучен историей Куприна — Райляна, — писал Горький из Италии Константину Треневу, — со страхом беру в руки русские газеты, ожидая самых печальных происшествий. До смерти жалко Александра Ивановича и страшно за него»¹⁷.

Как нарочно, около этого времени компания темных дельцов решила извлечь барыши из пылкой любви Куприна к цирковому спорту: по их настоянию он принял участие в чемпионате французской борьбы и регулярно выступал на арене в качестве члена жюри.

Горькому эти цирковые выступления Александра Ивановича причиняли душевную боль.

«...Куприн, — писал он А. Н. Тихонову (Сереброву), — публичный писатель, которому цирковые зрители орут: «И де (где) Куприн? Подать сюда Куприна!» Тургеневу бы или Чехову — крикнули этак?»¹⁸

VIII

У Горького и Куприна были отношения сложные. Впервые я увидел их вместе 4 марта 1919 года на заседании Союза деятелей художественного слова. Незадолго до того я

¹⁷ В. Афанасьев. А. И. Куприн. Критико-биографический очерк, с. 128.

¹⁸ Там же, с. 126.

расхворался, и поэтому заседание происходило у меня на квартире, — в Петрограде на Кировой.

Первым за полчаса до начала пришел Александр Иванович. По всему его обличью было видно, что угарная полоса его жизни уже миновала. И следа не осталось от того обрюзгшего, мешковатого увальня с распухшим и неподвижным лицом, каким он был еще очень недавно. Не чувствовалось в нем и веселой готовности ко всяким мальчишеским озорствам и проделкам, которая отличала его во времена «Поединка». Он сильно исхудал и притих, словно после тяжелой болезни.

Приветливо поздоровался с моими детьми и, так как они увлекались в то время какой-то настольной игрой (игра называлась «Пять в ряд»), тотчас же начал играть вместе с ними.

Сыграли две партии, вошел Горький, хмурый и очень усталый.

— Я у вас звонок оторвал, а дверь открыта.

Куприн кинулся к нему с самой сердечной улыбкой, но почему-то неуверенно, робко.

— Ну, как здоровье, Алексей Максимович? Все после Москвы поправляетесь?

— Да, если бы не доктор Манухин, давно уже был бы в могиле... — Горький закашлялся. — Надо бы снова к нему, да все времени нет. Я сейчас из Главбума... Потеха... Вот документ... поглядите.

Горький пошел в прихожую и достал из кармана пальто какую-то большую бумагу.

И оба они стали читать документ и возмущаться его крайней нелепостью.

И опять удивила меня какая-то новая интонация в голосе Александра Ивановича, смиренная и как будто чуть-чуть виноватая.

Разговор был самый заурядный, словно встретились

случайные знакомые, не обремененные памятью о былых отношениях. — Вы молодцом! — сказал Александр Иванович. — Вот мне — подумайте только! — уже сорок девять!

— А мне пятьдесят! — сказал Горький.

— И смотрите: ни одного седого волоса!

В таком духе шел весь разговор. Слушая его, вряд ли кто мог догадаться, сколько страстного интереса друг к другу, сколько взаимного восхищения, тревог, разочарований, обид пережили в минувшие годы эти два собеседника, обменивающиеся здесь, за столом, незначительными, ни к чему не ведущими фразами.

Трудно даже и представить себе, как много значил в жизни Куприна Горький. Куприн много раз повторял, что никому он не был так обязан, как Горькому.

«Если бы Вы знали, — писал он Алексею Максимовичу в 1905 году, — если бы Вы знали, как многому я научился от Вас и как я признателен Вам за это».

И утверждал, что, если бы не Горький, он так и не закончил бы своего «Поединок». «...Я могу сказать, — писал он Горькому, — что все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам»¹⁹.

«Поединок» при выходе в свет был посвящен Куприным Алексею Максимовичу: «С чувством искренней дружбы и глубокого уважения». В следующих изданиях этого посвящения нет. Потом многое разделило их, они разошлись, и надолго. Теперь это все отодвинулось в прошлое. Теперь, после Октябрьских дней, они, как и в старые годы, снова встретились на общей работе: для горьковской «Всемирной литературы» Куприн по предложению Горького (и, кажется, при содействии Батюшкова) перевел трагедию «Дон-Карлос»

¹⁹ А. И. Куприн. Собр. соч., т. 3. М., 1957, с. 570

и написал небольшую статью о своем любимом Александре Дюма²⁰.

То заседание Союза деятелей художественного слова, о котором я сейчас говорю, было многолюдным и долгим.

Присутствовали Александр Блок, Мережковский (враждебные друг другу из-за поэмы «Двенадцать»), Евгений Замятин, Николай Гумилев, Юрий Слезкин, Виктор Муйжель, Эйзен-Железнов и еще двое-трое, имена которых я забыл. Каждому из нас было поручено дать отзыв о намеченных для переиздания книгах. Смущаясь присутствием Горького, я кое-как прочитал свою рецензию о горьковской пьесе «Старик». Унылый Муйжель пробубнил что-то нудное. Потом выступил Александр Иванович и, обращаясь главным образом к Алексею Максимовичу, сделал (не по бумаге, а устно) очень содержательный и тонкий разбор рассказов Давида Айзмана, которые рекомендовал для издания. Говорил он неторопливо, деловито, умно — точными и вескими словами. Доклад произвел большое впечатление на всех. Даже у Блока потеплели глаза.

После заседания Куприн, с какой-то подчеркнутой вежливостью попрощавшись со всеми (в том числе и с детьми), отвел Алексея Максимовича в сторону и просил похлопотать о какой-то старухе писательнице (чуть ли не о Марии Валентиновне Ватсон). Горький, вечно торопившийся, не имевший ни минуты свободной, все же задержался в прихожей: было видно, что этот Куприн, Куприн, принимающий к сердцу чужую беду, Горькому особенно близок.

Наскоро простившись со всеми, он ушел с Александром Ивановичем, и в окно было видно, как они оба,

²⁰ Л. Бодрова. История одной рукописи. «Новый мир», 1958, № 3, с. 278–279.

оживленно беседуя, идут по Манежному: Горький — большими шагами, а Куприн — семенящими, мелкими.

Вскоре после этого свидания с Горьким Куприн написал мне такое письмо:

«Дорогой Корней Иванович.

Окажите содействие!

Я просил Алексея Максимовича походатайствовать об участии четырех гатчинских реалистов, засаженных на Шпалерную (сопливые контрреволюционеры!). Но Алексей Максимович, уже принимавший раньше под свое крепкое крыло моих подобных клиентов, заболел. Тогда я пристал к А. В. Луначарскому (и тоже в пятый, кажется, раз). Начав с притчи о марк-твеновской собаке и докторе, я указал ему, что ужасные заговорщики были все в возрасте от 14–17 лет. Вся их вина: один (да еще на службе, да еще на казенном ремингтоне) переписывал дурацкую эсеровскую прокламацию, а другие были уверены, что история запишет их имена на скрижали. В сущности, игра в Робинзона, путешествие в Америку, «Хвост Пантеры» и Шерлок Холмс! Не более!

Луначарский мое письмо со своею припиской препроводил Лобову. Трое мальчиков были вскоре освобождены. Но четвертый, Иван Тарасов (Шпалерная, камера № 24, отд. 8), к нашему общему огорчению, перешагнул за семнадцатилетний возраст (ему 17). И вот его отправляют на общественные работы, а у него порок сердца. Мотив — именно великовозрастность. Я уже не говорю о его отце и матери: каждый день я вижу их ужасные, умоляющие, жалкие глаза! Но мне хорошо известно, что из всей крамольной компании Тарасов был наиболее ребенком, наиболее наивным фантазером и в то же время наименее виноватым. Также я знаю (в Гатчине

все всё и обо всех знают), что у этих поросят не было старших руководителей. Все их дело — любительская, смешная отсебятина. Господи! Разве совместно твердой, серьезной, огромной власти метать свои громы в полоротых шибздииков?

Если можете, поклянитесь у кого-нибудь! Очень тронете преданного Вам

А. Куприна».

На полях:

«Р. С. Увидите Алексея Максимовича — передайте ему мою благодарность.

А. К.

1919. 27.V».

Алексей Максимович принял в Иване Тарасове большое участие, но оно оказалось ненужным, так как тот был освобожден еще раньше.

С такими письмами, проникнутыми заботой о страждущих, Куприн обращался к Горькому не раз. Хлопоча об одном чахоточном литераторе, он писал в 1905 году:

«Дорогой, добрый Алексей Максимович, устройте его, пожалуйста, в Ялте подешевле. Вам стоит только сказать слово покрепче С. Я. Елпатьевскому. Он Вас, конечно, послушает, а меня, конечно, нет: поэтому я к Вам и обращаюсь, а то бы не решился Вас беспокоить»²¹.

Я привел это купринское письмо, чтобы читателю стала

²¹ Ф. И. Кулешов. Творческий путь А. И. Куприна. Минск, 1963, с. 299.

ясна одна немаловажная черта в характере Александра Ивановича: его участливость. Вспомним хотя бы о том щедром залоге, который в 1905 году он разрешил Марии Карловне внести за меня. Когда он узнал, что в цирке Чинизелли во время разрухи (1918–1919) голодают его любимые лошади и другие животные, он (опять-таки с помощью Горького) выхлопотал для них пропитание и тем спас их от верной гибели.

Правда, доброта его проявлялась порывами и далеко не всегда. Порою он бывал бешено вспыльчив, порою, как и каждый из нас, несправедлив, недостаточно чуток. Тем заметнее была пробуждавшаяся в нем временами страстная забота о людях, так или иначе обиженных жизнью. Очень верно говорит о нем Бунин: «Наряду с большой гордостью много (было в Куприне. — К. Ч.) неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму»²².

Помню, его одесский приятель, Антон Антонович Богомолец, юрист, рассказал ему в 1902 или 1903 году о какой-то старухе, которую беспощадно колотит сын, громадного роста биндюжник. Куприн в тот же день разыскал этого человека в порту и, рискуя быть изувеченным его кулаками, сказал ему такие крутые слова, что тот закаялся измываться над матерью. Я видел эту женщину, когда она пришла к Богомольцу, чтобы поблагодарить Куприна. Куприн принял ее с сыновней почтительностью, и, не желая, чтобы мы восхваляли его благородство, сказал, когда его гостья ушла:

— Хорошо пахнут старухи на юге: горькой полынью,

²² И. А. Бунин. Повести. Рассказы. Воспоминания, с. 590.

ромашкой, сухими васильками и — ладаном.

Осенью 1919 года он совершил самую большую ошибку, какую когда-либо совершал за всю жизнь: перешел советскую границу и стал эмигрантом. На восемнадцать лет оторвался от родины и этим страшно обессилил свое дарование. Невозможно без глубокого волнения читать его зарубежные письма к друзьям: в них отражается такая сиротская, безнадежно тоскливая жизнь, всецело погруженная в мелочные заботы о хлебе, какая была бы не под силу и юным талантам, а Куприн на чужбине вскоре постарел и ослаб.

«Я как-то встретил его (в Париже. — К. Ч.) на улице, — вспоминает Бунин, — и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он... плелся такой худенький, слабенький, что казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза»²³.

И горькая, безысходная бедность:

«Сейчас мои дела рогожные, — писал Куприн из Парижа одному педагогу. — Ах, если бы Вы знали, какой это тяжкий труд, какое унижение, какая горечь писать ради насущного хлеба, ради пары штанов, пачки папирос... Правда, иногда ласковый привет читателя умилит, обрадует, поддержит морально, да без него и страшно было бы жить, думая, что, вот, возвел ты многоэтажную постройку, работу всей жизни — а она никому не нужна. И плохой советчик в

²³ И. А. Бунин. Повести. Рассказы. Воспоминания, с. 593.

одиноким минутам бедность». «...Все, все дорожает. Зато писательский труд дешевет не по дням, а по часам. Издатели беспощадно снижают наши гонорары, публика же не покупает книг и совсем перестает читать».

«...И нет дня, чтобы не были с утра до вечера заняты либо хлопотами о *carte d'identite*²⁴, либо спешным взносом налогов: налогов прямых, косых, дополнительных, пооконных, по-трубных, посемейных, подоходных, прожиточных, квартирных, беженских, эмигрантских, потом за все четыре румба, за то, что вы брали ванную чаще, чем раз в год, и за количество штанов и подштанников... Руки делаются свинцовыми, и перо выпадает из рук...»

«...У нас уже 48-й день стоят холода самые полярные. За то, чтобы поглядеть на каменный уголь, взимают 40 сантимов; подержать в руке — франк, а лизнуть — франк 50 сент[имов]»²⁵.

«...Эмигрантская жизнь, — писал он из Парижа сестре, — вконец изжевала меня и приплюснула дух мой к земле. Нет, не жить мне в Европах!...».

«Меня всегда влекли люди, нравы, обычаи, ремесла, песни, словечки. И нигде еще, бывая за границей, я не чувствовал такого голода по Родине... Если уж говорить о том Париже, который тебе

²⁴ Удостоверение личности.

²⁵ Письма к И. А. Левинсону. «Литературная газета», 1960, № 147, от 13 декабря.

рисуется и представляется, то я его ненавижу».

Илье Ефимовичу Репину он в эти же годы писал:

«Чем дальше я отхожу во времени от Родины, тем болезненнее о ней скучаю и тем глубже люблю... Знаете ли, чего мне не хватает? Это двух-трех минут с половым из Любимовского уезда, с зарайским извозчиком, с тульским банщиком, с владимирским плотником, с мешерским каменщиком. Я изнемогаю без русского языка...»

В 1937 году Куприн возвратился на родину такой изможденный и хилый, что его невозможно было узнать, словно его подменили. В этом немощном, подслеповатом человеке с такой тоненькой шеей, с таким растерянным, изжелта-бледным лицом не осталось ни единой черты от того Куприна, какой запечатлен в его книгах. Из них он всегда будет вставать перед нами как здоровый, мускулистый, полнокровный талант, пышущий нутряными, могучими силами.

Замечательный художник, мастер меткого и емкого слова, достойный ученик Льва Толстого и Чехова, автор «Свадьбы», «Поединка», «Лестригонов», «Реки жизни», «Гамбринуса», вскоре после возвращения на родину стал для советских людей одним из любимейших русских писателей.

Последний дебют

Посвящ. Н.О. С-ой.

*Я, раненный насмерть, играл,
Гладьяторов бой представляя...*

Гейне

Антракт между третьим и четвертым действиями кончался. Капельмейстер Геккендольф только что добрался до самого интересного места, изображавшей очень наглядно плач иудеев в пленении вавилонском.

Иван Иванович ужасно любил такие пьесы, где все время шла отчаяннейшая fuga, — где жалобное рыдание флейт смешивалось с патетическими восклицаниями кларнета, где гудел самым безжалостным образом тромбон и все покрывалось глухим рокотанием турецкого барабана, где музыканты, приведенные в ужас этим хаосом звуков и готовые положить инструменты, кидали на капельмейстера взоры, полные самого мрачного, безнадежного отчаяния...

Тогда Иван Иванович производил чудеса: он бросался из стороны в сторону, делал самые трудные телодвижения, удивляя публику своею гибкостью, и, наконец, красный от усталости и волнения, обводил зрителей торжествующим взором, когда инструменты сливались в общем хоре.

На этот раз публика не могла отдать должного удивления музыкальным подвигам Ивана Иваныча, потому что все были заняты разговорами о драме, которая шла в первый раз. Называли вполголоса имя автора и указывали на литерную ложу, где сидел молодой человек с растрепанной шевелюрой.

На сцене шла суматоха. Алексей Трофимович Петунья, исполнявший одновременно должность и декоратора, и машиниста, и сценариста, был в страшном волнении.

— Опускайте, опускайте кулисы-то! — кричал он, бегая без сюртука по сцене. — Да тише, осторожнее, говорят вам! Послушай, ты, баранья голова, как тебя звать?

— А Кириллом, — отвечал, усмехаясь, кудрявый рослый парень.

— Так ты, голубчик Кирилл, сбегай сейчас вниз, в кассу. Спроси у Андрей Филипыча мой саквояж, понимаешь? Ну, мешочек такой, маленький, кругленький... Да ты пошевеливайся, бегом! Ну, что вы там заснули? Где же река-то? Николай Антонович, вы реку позабыли, давайте реку!

— Пушай висит, — отвечал сверху грубый голос, — таперя кулисы мешают, тады легче будет.

— А вы, Николай Антонович, вал починили? Прошлый раз Анемподистов четырнадцать зубцов сломал. Александр Петрович, я просто не знаю, что мне делать, облака истерзаны в клочки, река просвечивает, кулисы старые, гнилые... Последнее слова относились к антрепренеру и директору труппы, быстро проходившему через сцену с хлыстом в руке. Это был высокий, статный мужчина лет тридцати пяти. Лицо его обрамленное густою гривой черных волос, живописно падавших на плечи, носило печать какой-то гордой, самоуверенной силы. Особенно хороши были его большие, серые, холодные глаза, тяжелый взгляд которых не могли выдержать многие, даже очень решительные люди.

— Обратите, пожалуйста, внимание, — вопил Алексей Трофимович, жестикулируя самым отчаянным образом. — Андрюшка опять запил, старые кулисы никуда не годятся, могут упасть, разбить кому-нибудь голову...

— Потом, потом, — прервал рассеянно Александр Петрович. — Где Гольская?

— Оне в уборной-с, если не ошибаюсь, — отвечал Алексей Трофимович и опять побежал раздавать приказания.

Поднявшись наверх, Александр Петрович остановился

перед маленькой крашеной дверью и постучал.

— Кто там? Войдите! — раздался за дверью приятный женский голос.

Лидия Николаевна Гольская была красавица. Трагик Анемподистов, игравший на сцене под псевдонимом Фальери и поразивший купчих в самое сердце краткой, но ядовитой эпиграммой:

Фигура
Без тюрнюра! —

всякий раз, когда заходила речь о Лидии Николаевне, закатывал глаза под лоб так, что несколько минут в орбитах вращались одни громадные белки, и восклицал хрипящим басом: «Богиня! Классическая богиня!» Действительно, тонкие правильные черты лица, классический профиль и будто мраморная, прозрачно-матовая бледность лица Гольской позволяли дать ей это название.

При входе антрепренера Лидия Николаевна сделала порывистое движение вперед, но опять опустилась в кресло, и только густой румянец залил ее бледные щеки.

— Чем обязана чести видеть вас у себя? — спросила она через силу, и в тоне ее голоса зазвучали худо скрываемые горечи и презрение.

Александр Петрович тряхнул гривой черных волос. Этот прямой вопрос ему сильно не понравился, потому что он хотел приступить к объяснению исподволь.

— Я просил бы вас, Лидия Николаевна, оставить, во-первых, этот тон, который мне неприятен, а затем хотел вам доложить, что меня положительно возмущают ваши вздохи и безнадежные взгляды. На каком основании это все делается? А сегодня вы, как будто нарочно из рук вон плохо играете. Хорошо еще, что вас любит публика, а то ведь провалили бы пьесу, окончательно провалили бы... Чисто

женская логика! Разозлится на одного человека, а делает неприятности двадцати пяти. Здесь, кроме меня, страдает автор, страдают ваши товарищи; я уверен, три четверти зрителей не слышали вашего умирающего голоса. И он остановился против нее, раздраженный, взволнованный, ожидающий ответа.

— Александр Петрович, представьте себе, — заговорила, наконец, Лидия Николаевна прерывающимся голосом, — представьте себе женщину, которая полюбила горячо и сильно, — полюбила в первый раз а жизни.

Александр Петрович сделал нетерпеливое движение.

— Подождите немного! Представьте себе дальше, что она отдала все что только может отдать женщина, а он надругался над этой горячей, слепую любовью, вбросил эту женщину на произвол судьбы. И представьте себе, Александр Петрович, что этой женщине приходится развлекать тысячную толпу именно в то время, когда она, быть может, близка к самоубийству или к безумию!

— Ну вот! Я так и знал, — прервал нетерпеливо антрепренер. — И к чему здесь эта напущенная иносказательность, когда вы могли бы прямо потребовать у меня объяснения? Когда я вам говорил, что я вас люблю, — я говорил от чистого сердца, точно так же, как и вы — по всей вероятности. Если бы вы меня разлюбили, я не стал бы ныть и *требовать* любви! Если бы мне было тяжело, я повесился бы на первой балке моего театра; если бы меня мучила зависть и злоба против моего соперника, я не стал бы сдерживаться, а сделал бы то, что мне хотелось бы сделать: разбил бы, например, кому-нибудь голову вот этим самым графином...

— Александр Петрович, — возразила Гольская — вы забываете, кажется, что я женщина, что...

— Ах, не все ли равно! Я, признаюсь, не понимаю, совершенно не понимаю сентиментальных пошляков, которые уверяют, что раз сошлись мужчина и женщина, между ними

возникает какое-то взаимное нравственное обязательство. Стыдитесь, Лидия Николаевна! Так простительно думать девицам, которые, слышав в словах мужчины намек на любовь, тащат его к брачному сожителству! Я вам понравился, вы мне понравились, — это, по-вашему, естественно? А разве не естественно и то, что вы мне перестали нравиться?

— Александр Петрович! А ваши клятвы, обещания? вспомните, как вы призывали все, что еще для вас осталось святого, в свидетели вашей любви! — Что ж из этого? Или вы думаете, я сделан из дерева? Страсть, которая одинаково палила и меня и вас, заставила бы всякого на моем месте клясться точно так же, как клялся я! Ну, хорошо, положим, я должен был сдерживать эти клятвы; да неужели вам будет приятно, если я начну снова уверять вас в своей любви, после того как сказал вам, и очень ясно, что вы мне перестали нравиться? А ведь вы должны со мной согласиться, что я не могу по произволу вызывать в себе нежные чувства!

— Александр Петрович, вы хотя бы вспомнили, что я должна сделаться матерью, — прошептала, отворачиваясь, Лидия Николаевна...

Она так была хороша в этом замешательстве, что у антрепренера мелькнула на мгновение мысль: а ведь я могу еще ее уверить, — скажу, что хотел испытать. Но это было только на мгновение; он отогнал соблазнительную мысль и отвечал суровым тоном:

— Ну что же-с? Обеспечить законным образом существование ребенка? Этого вам хочется? С удовольствием...

Он не успел докончить фразы. Оскорбленная женщина встала с кресла и, задыхаясь от гнева, произнесла почти шепотом:

— Вон!

Это «вон!» было сильнее громкого крика. Человек;

никогда, ни при каких обстоятельствах не терявшийся, покорно вышел, понутив голову.

Лидия Николаевна долго смотрела на затворяющуюся дверь и почти без чувств опустилась в кресло. Тяжелые мысли, как кошмар, проносились и путались в ее голове, а вместе с ними создавалось и зрело какое-то ужасное решение.

— Ваш выход, Лидия Николаевна, — раздался через некоторое время сиплый тенор Вальцова, первого комика и не последнего шулера на все руки, как называл его язвительный Анемподистов, — поскорее, пожалуйста.

Она сумела победить волнение, недаром она была превосходной артисткой, и сухо, но твердо отвечала:

— Иду!.. Скажите, что иду.

На сцене было душно. Шел последний акт, в котором молодая девушка, обманутая возлюбленным (эту роль исполнял антрепренер) и осыпанная незаслуженными упреками, принимает яд и умирает, унося в могилу проклятия тому, кого она так сильно любила. Гольская стояла в ожидании своего выхода, прислонившись к кулисе, бледная, с шибко бьющимся сердцем. Кто-то взял и лежал ее руку. Она услышала над ухом участливый голос режиссера:

— Вы бледны, как смерть, Лидия Николаевна, не хотите ли воды?.. Она молча, отрицательно покачала головой.

«Начинается, начинается, — со страхом думала Лидия Николаевна, — спрошу в последний раз, и он должен ответить, должен под чужими словами понять мои мучения... Ах, как стучит сердце... А этот противный Анемподистов кричит и кривляется!»

Она дождалась наконец момента, когда Анемподистов, изгибаясь в судорожных движениях, долженствовавших изображать гнев, удалился за кулисы, призывая замогильным басом все грома небесные на чью-то несчастную голову, дождалась резкого шепота режиссера:

«Вам, Лидия Николаевна», — дождалась и вышла.

Она вышла, прекрасная и величественная в своей скорби, и уж один вид ее заставил вздрогнуть и забиться сотни сердец.

Она ничего не видала, кроме мощной фигуры, неподвижно стоявшей посреди сцены, и сама не знала, какое чувство будила в ней эта фигура: прежнюю ли беззаветную любовь, или глубокую ненависть и презрение...

«Что он скажет? — проносилось в уме. — Неужели не тронется это холодное сердце? Скажи, что ты меня любишь, обними меня по-прежнему, я все отдала тебе, — я тебя любила без конца, без оглядки... Но разве это возможно, разве осталась для меня какая-нибудь надежда?.. Вот он что-то говорит... Нет! Это те же холодные, жестокие слова, та же убийственная, рассчитанная насмешка...»

Она рыдала, ломая руки, она умоляла о любви, о пощаде. Она призывала его на суд божий и человеческий и снова безумно, отчаянно рыдала...

Неужели он не поймет ее, не откликнется на этот вопль отчаяния?

И он один из тысячи не понял ее, он не разглядел за актрисой женщину; холодный и гордый, он покинул ее, бросив ей в лицо ядовитый упрек.

Она осталась одна.

Всем становилось жутко, каждый чувствовал, как по спине у него пробегала холодная волна.

Суфлер в изумлении захлопнул книгу, — в ней не было ни одного слова, похожего на эти, полные мрачной скорби слова.

Скрипач, начавший было тянуть сурдинку, остановился и застыл на месте с раскрытыми от ужаса глазами.

А она каким-то надорванным голосом рассказывала историю своей несчастной погибшей любви, — роптала на небо и просила у него смерти, молилась за человека, разбившего ее жизнь, и призывала на его голову проклятия. В

зале царила гробовая тишина, — каждое слово было слышно с ужасной отчетливостью.

Вдруг Гольская остановилась и медленно подошла к рампе. Она уже не рыдала, не ломала в отчаянии рук; ясное спокойствие разлилось по ее лицу. В руках у нее сверкал и искрился граненый флакончик с темной жидкостью.

«Ах, какой отвратительный запах... Страшно... Надо сделать усилие... Горько... Жжет в груди...»

Она обвела зрителей большими, изумленными глазами... побледнела, зашаталась и со страшным, раздирающим душу криком упала на пол. Восторг и какое-то растерянное недоумение изображались на бледных лицах зрителей. При гробовом молчании медленно опускался занавес, но — мгновение, и театр задрожал от бури аплодисментов.

— Гольская! Гольская! — раздавалось отовсюду, раек неистово шумел и топал ногами, слышались истерические рыдания. Угол занавеса дрогнул, кто-то нерешительно выглянул со сцены и скрылся.

— Гольская! Гольская! браво! — раздавались неумолкающие крики; занавес опять колыхнулся, на сцену посыпались венки и букеты.

Но что это? У рампы показался человек с бледным, испуганным лицом. Он медленно обвел залу помутившимися от слез глазами и едва слышно произнес дрожащим голосом:

— Господа, Гольской не стало...

Впотьмах

I

На дебаркадере одного из московских вокзалов шумно двигалась взад и вперед пестрая, разноголосая толпа. Окрики артельщиков, быстро и ловко сновавших с тюками и тележками, мимолетные отрывки обыкновенных вокзальных разговоров, шарканье нескольких сот ног о плитяной помост, — все это, вместе с шипением машины, сливалось в утомляющую своим ритмическим однообразием суету.

У дверей вагона второго класса стояли трое молодых людей, в нетерпении ожидая третьего звонка.

Один из них, полный брюнет с выхоленным барским лицом, пробегал газету, дымя дорогой сигарой; другой — высокий, тонкий и гибкий, как хлыст, франтик, который как будто только что сорвался с первой страницы юмористического листка, — так много было в его фигуре, начиная с монокля и красной гвоздики в петлице и кончая удивительно узкими носками желтых ботинок, особенной, свойственной людям этого рода, вычурности, — держал под руку третьего, смуглого красавца в инженерной форме, с дорожной сумкой через плечо.

Все трое, по-видимому, сильно скучали и лишь изредка перебрасывались вялыми замечаниями.

Между ними было очень мало общего: случайно попавши на вокзал, они теперь сильно тяготились друг другом и в особенности неизбежной сценой прощания, где каждому предстояла неприятная обязанность притворяться растроганным.

К тому же они имели несчастье попасть на вокзал за целый час до отхода поезда, и все те разговоры, которые обыкновенно ведутся в этих случаях и которые способны

своею неестественностью только раздражать нервы, уже давно были переговорены.

Неловкость этого положения особенно сильно испытывал на себе уезжающий инженер — Александр Егорович Аларин. Он любил шумную, кипучую жизнь вокзалов, любил смешаться с толпой, прислушиваясь и приглядываясь к ней, чувствуя себя в это время бодрым и веселым; но двое приятелей, которые встретились с ним случайно за обедом в «Славянском базаре» и после нескольких бокалов почувствовали, что не могут отпустить его не проводивши, связали его по рукам и ногам и испортили его расположение духа.

Раздался третий звонок, и у каждого из молчаливых приятелей вырвался вздох облегчения.

Суета на платформе заметно усилилась.

— Ну, садись, Саша, садись, пожалуйста, — заторопился внезапно оживившийся франтик с моноклем. — Знаешь ведь, как курьерские поезда трогаются. Пиши же, смотри!..

Но ему стало неловко от собственных слов, так как, даже при самом искреннем желании, у него с Алариним не могло найтись никаких общих интересов. Он замолчал и полез целоваться, оставляя на губах Аларина запах фиксажуара, которым были намазаны его усы.

У полнолицего брюнета нашлось больше такта. Он молча широко улыбнулся, показав великолепные вставные зубы, и крепко стиснул руку Аларина. Он радовался тому, что сейчас кончится тяжелое и неловкое положение и он опять станет господином своего времени. Аларин понял его без слов и отвечал таким же красноречивым рукопожатием.

Паровоз свистнул, шум мгновенно возрос до галдения, застучали буфера вагонов, точно кто-то раза два встряхнул огромными железными цепями, и поезд тронулся.

Аларин высунулся из окошка. Его приятели махали

платками, и ему казалось, что он вследствие этого обращает на себя общее внимание, но он, преодолевая смущение, махнул им, в свою очередь, фуражкой.

«И для чего эта комедия? — думалось ему. — Ведь мы все трое очень рады, что отделались друг от друга. Для чего ж это?»

Но в силу чего-то бывшего сильнее его здравого смысла, он продолжал махать фуражкой до тех пор, покуда не затерял своих приятелей в густой толпе, покрывавшей платформу. И как только их совсем не стало видно, он опустился на диван.

Аларин, еще по воспоминаниям детства, инстинктивно избегал заводить знакомства в вагоне, так как на опыте убедился, что человек, долго едущий по железной дороге, ищет постоянно развлечения от сосущей сердце скуки и делается пошло-любопытен, а вследствие этого докучает соседям ненужными расспросами. Поэтому-то и теперь Александр Егорович прислонился к углу дивана, стараясь не привлекать к себе ничьего досужего внимания, закурил папиросу и искоса оглядел своих соседей.

Прямо против него сидела скромно одетая в серенькое драповое пальто и котиковую шапочку, по всей вероятности, барышня: последнее сказывалось в той особенной легкости и воздушности в фигуре, которые свойственны девушкам. Насколько позволяли видеть полутьма вагона и редкий вуаль, закрывавший ее лицо, она была совсем не хороша собою. Лицо с неправильными чертами было болезненно и бледно, тонкие сухие губы почти бескровны. Этих непривлекательных качеств не сглаживали даже синие глаза прекрасного очертания.

«Анемическая особа», — решил Аларин.

Барышня подышала на стекло, протерла его крошечной рукой в желтой перчатке и стала глядеть, не отрываясь, в черневшую перед ней мглу сентябрьской дождливой ночи. Ее

лицо было грустно, и вся тоненькая, хрупкая фигурка жалко-беспомощна.

Рядом с бледной барышней помещался грузный мужчина восточного типа. Он обладал носом непомерной длины и толщины, крупными ярко-красными губами, которые никак не могли сойтись вместе, и большими глазами навывкат.

Как только поезд тронулся, восточный человек извлек из кармана золотые часы-луковицу со множеством брелоков, внимательно разглядывал их и вдруг, с шумом захлопнув крышку, уставился с изумленным видом на Аларина, на затылок барышни, в окошко, и затем, неожиданно свесив голову на грудь, поднял оглушительный храп. Он был чрезвычайно противен в эту минуту, с головой, болтавшейся во все стороны, и широко раскрытым ртом, придававшим его лицу идиотское выражение.

Аларин вдруг с озлоблением зевнул и тотчас закрыл глаза. Сначала ухо ловило размеренный ход поезда, но в уме звучал какой-то знакомый мотив, и к нему подбирались, рифмуя друг с другом, нелепые стихи; потом он вспомнил натянутые лица провожавших его приятелей, наконец, мысли его смешались, и он задремал.

Он проснулся через полчаса при остановке поезда. В разных углах слышалось сонное дыхание пассажиров, облака табачного дыма ходили, точно туманные волны. Где-то в конце вагона два голоса — молодой мужской и старушечий — наперерыв лепетали, споря и захлебываясь.

Аларин поглядел на девушку, сидевшую напротив него. Она боязливо забилась в самый угол дивана и даже прижала рукой складки своего пальто, сторонясь от восточного человека, который, по-видимому, уже давно проснулся и теперь не сводил своих масляных глаз с ее испуганного лица. Должно быть, он только что обращался к ней с разговором, но не решался продолжать его из боязни быть услышанным посторонними в то время, когда поезд стоял.

Действительно, только что поезд тронулся, он нагнулся к девушке и с выразительной мимикой заговорил что-то. Девушка ничего не отвечала, но все теснее прижималась к своему уголку.

— Чего, барышня, боишься? Я тебэ нэ мидвед, кусать не хочу. Ну? Поджалуста, прошу: нэ пугайся, — услышал Аларин хриплый голос.

— Оставьте меня, ради бога, — произнесла в отчаянии барышня.

Ее свежий миленький голосок дрожал от волнения.

Аларин одну секунду подумал было осадить расходившегося в своих аппетитах восточного человека, но боязнь скандала, из-за которого многие порядочные люди стушеваются в то время, когда требуется их помощь, и, наконец, то обстоятельство, что барышня была нехороша собою, заставили его отложить свое намерение. «Сам отстанет», — решил он.

Но восточный человек с удивительным упорством не хотел прекратить свое назойливое ухаживание. На отчаянный протест своей соседки он глупо захихикал.

— Ну, ну, нэ горячись. Слушай, цыпка, что я тебе скажу. Сейчас приедем в К., слезай с вагона, поедем ко мне в гостиницу обедать. Ей-богу, поедем, весело будет! А назад поедешь — я тебе билет куплю. Хорошо?

Девушка молчала, но Аларин заметил, что она вся дрожит.

— Чего молчишь? Хорошо? А? Ну, скажи, душа, хорошо?

И восточный человек вдруг схватил и крепко сжал рукой ее колено.

— Господи! Да что же это такое! — вскакивая с места, вскрикнула барышня. В ее голосе слышались слезы, через секунду она заплакала.

Аларин почувствовал, как у него сразу похолодели

руки и по спине забегали мурашки.

— Слушайте, вы! — обратился он к нахалу и почувствовал в то же мгновение, что его голос силен и значителен. — Извольте сейчас же пересесть на другое место и оставить эту барышню в покое!

Из-за спинок диванов стали выглядывать заспанные лица пассажиров, разбуженных восклицанием.

Восточный человек отпустил ногу своей соседки.

— Ва! Ти мнэ началнык? — заговорил он, стараясь показаться дерзким, но, очевидно, порядком струхнув. — Садись сам на свой диван, а я не хочу уходить!

Публика стала волноваться.

— Что такое? В чем дело? Ишь ты, армяшка проклятый, кишмиш... В чем дело-то, господин? — слышалось с разных сторон. Эти восклицания и нагло смеющееся жирное лицо восточного человека привели Аларина в бешенство.

— А-а? Не хочешь? — задыхаясь, воскликнул он. — Не хочешь?.. — И вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, он схватил своего противника за воротник и с силой рванул со скамейки. — Не хочешь?.. — повторял он, чувствуя новый прилив силы и озлобления, когда бархатный воротник затрещал в его руках.

Восточный человек пронзительно завизжал. Он уцепился было за ножку дивана, но после того как Аларин, судорожно стиснув зубы, снова дернул его изо всех сил, он уже не пробовал сопротивляться. Аларин вытащил его на платформу. Мелкий осенний дождик, брызгавший в лицо, и холодный ветер отрезвили его; он выпустил из руки полуоторванный воротник и сказал, тяжело дыша:

— Убирайся живо из вагона, и чтобы духу твоего не было.

Восточный человек сделался кроток, как агнец.

— Чего таскал, — заговорил он укоризненно, — зачем

не сказал, что самому тебе барышня понравилась? Горячий человек!..

Александр Егорович повернулся к нему спиной и ушел в вагон, крепко захлопнув за собой дверь.

II

Когда Аларин сел на свое место, пассажиры продолжали волноваться.

— Есть же такие мерзавцы, — негодовал кто-то вроде приказчика, маленький, головаственный человечек, весь обросший черным лесом курчавых волос. — Как же это, помилуйте, вдруг с такими глупостями лезть к одиноко едущей особе! Да им морду следует за это бить, а не то что...

Он обращался как будто к своей собеседнице — старушке, но голову поворачивал по направлению к барышне, с которой произошел этот неприятный эпизод, вероятно ожидая, что она поддержит его негодование.

Однако она была так напугана и возмущена всем происшедшим, что лишь дрожала и молчала.

Аларин почувствовал глубокую жалость к этому беззащитному созданию. «В самом деле, — подумал он, — чем может оградить себя от подобной назойливости эта худенькая девушка? У нее, кроме слез, нет никакого оружия, да и те не на всякого действуют».

Однако в то же время, хотя ему и было неловко от обращенных на него со всех сторон глаз, он все-таки в глубине души немножко любовался своей «бешеной вспыльчивостью», с большим удовольствием припоминая ту тишину, которая наступила в вагоне, когда он закричал: «Не хочешь?»

Все это требовало теперь нескольких утешительных, пожалуй, даже великодушных слов, которые должны были окончательно успокоить бедную барышню.

Эти ощущения смешивались весьма странным образом. Аларин, вообще склонный к анализу своих внутренних побуждений, часто замечал в себе подобную двойственность, и если на него находила в это время минута самобичевания, то он называл себя с горечью «раздвоенным человеком».

Когда глазающие из-за диванов головы мало-помалу скрылись, Аларин наклонился к своей соседке.

— Успокойтесь, ради бога, — ласково и тихо сказал он, стараясь заглянуть ей в лицо, — все подобные господа ужасные трусы и негодяи, и из-за них волноваться не стоит. Может быть, я вас тоже напугал?

— Ах, я действительно так перепугалась! — отвечала девушка, улыбаясь сквозь слезы. — У меня сердце до сих пор еще стучит. Вы были так рассержены, что я думала, вы его убьете. Я не знаю, как благодарить вас.

И она быстро протянула Аларину руку и опять застенчиво улыбнулась.

У нее была очаровательная улыбка, обнаруживавшая ровные и блестящие зубы и образовавшая на каждой щеке по две ямочки. Эта улыбка освещала и делала чрезвычайно симпатичным ее лицо.

— С ним, слава богу, ничего не сделалось, — произнес Аларин, невольно отвечая на ее улыбку, — но это послужит ему на будущее время хорошим уроком. Если такие наглецы, как вот этот, время от времени не получают таких энергичных встрясок, то это обычно располагает их к дальнейшим действиям такого же характера. Интересно, почему он к вам так пристал?

Он сказал это и тотчас же спохватился и сконфузился. Ведь, конечно, эта худенькая девица боялась даже обернуться на своего пылкого соседа и не могла ни одним взглядом дать ему повод к приставааниям. Но она была так далека от понимания всех этих житейских гадостей, что не заметила даже тени неуместности подобного вопроса и горячо

ответила:

— Уверяю вас, я сразу испугалась его, как только он сел рядом со мною.

— Но хуже всего, — перебил ее Аларин, — что у нас ни одна женщина не может быть гарантирована от подобного рода неприятностей. Ведь здесь проглядывает самое грубое сознание превосходства физической силы, а между тем я знаю многих образованных и даже гуманных людей, которые не стыдятся проделывать почти то же самое.

— Но ведь это ужасно! — возразила барышня. — Как же порядочный человек может позволить себе?..

— В том-то и дело, что здесь полное отсутствие какой бы то ни было порядочности. Конечно, люди, о которых я сейчас сказал, не выражают так грубо, как этот кавказец, своих низменных инстинктов, но все-таки... Я, право, не могу решить, догнали ли мы в этом отношении чересчур быстро Европу или это остатки старинного русского неуважения к женщине!

Александр Егорович в эту минуту совершенно искренно позабыл о кое-каких своих похождениях.

— Но если некоторые сознают это, почему же они не постараются как-нибудь подействовать на других? — спросила девушка. — Ну, писать, что ли, об этом?

— Пишут, — сказал Александр Егорович, — отовсюду слышатся голоса, ратующие за то, чтобы женщина заняла в обществе принадлежащее ей по праву место, отнятое у нее порабителем-мужчиной. Но это, по-моему, смешно. Здесь нужны коренные реформы в семейном и общественном воспитании целых поколений, а не жалкие возгласы.

Аларин с удовольствием высказывал эти обиходные истины. Он умел и любил говорить только тогда, если вокруг него не было слушателей, которых он инстинктивно считал бы сильнее себя. Сосредоточенное внимание сидевшей перед ним девушки, представлявшей олицетворенную неопытность

и наивность, делало его развязным.

Кроме того, он был не чужд любования собою и своим голосом, свойственного очень молодым, в особенности красивым людям, которые, оставаясь даже совершенно одни, постоянно воображают, что на них кто-то с любопытством смотрит, и ведут себя точно на сцене. Они являются перед собою то разочарованными, пресыщенными циниками, то современными дельцами, с полным отсутствием принципов и с девизом «нажива», то светскими денди, свысока глядящими на род человеческий, но всегда чем-нибудь красивым и выдающимся. Та или другая роль зависит от настроения духа или прочитанной книжки, что, впрочем, не мешает в них вырабатываться собственным оригинальным качествам. Теперь вот, разговаривая со своей соседкой, Аларин чувствовал себя пожилым мужчиной, относящимся с симпатией и жалостью к этому наивному ребенку.

— Да, — продолжал он, увлекаясь собственными словами, — у нас вот и электричество, и гипнотизм, и все кричат, что человечество прогрессирует, а поглядите, в каком положении во всех цивилизованных странах находится женщина.

И он легко и быстро очертил современное положение женщины, черпая мотивы из недавно прочитанной модной повести. Он с эффектной, деланной злобой говорил о том, к чему готовят ее с пеленок, как извращают воображение и приучают к роскоши.

Для его собеседницы все это было совершенной новостью, она ловила каждое слово и притом невольно любовалась красивым лицом Аларина с его блестящими от оживления, черными, притягивающими глазами. Это, после институтских учителей и швейцаров, был первый «настоящий» мужчина, которого она видела. Аларин коснулся тех «жалких обрывков познаний, которые западают в юную женскую головку». Он описывал все это очень удачно в

карикатурных гиперболох и вдруг перебил самого себя.

— Извините, — сказал он смущенно, — вы, если я не ошибаюсь, бывшая институтка! Поверьте, что я не хотел сказать ничего обидного...

— Нет, нет, пожалуйста, продолжайте, — возразила девушка, — вы все это так хорошо знаете. Представьте себе, у нас даже русским языком никто не интересовался.

— А занимались тем, что сшивали тетрадки розовыми ленточками с надписью «Souvenir». Или приклеивали на первой странице целующихся голубков? Да?

— Вы и это даже знаете?

— Знаю. А в библиотеке ничего, кроме произведений madame Жанлис, конечно, не было?

— Ах, эта противная Жанлис. Мы просто ненавидели ее и называли ее именем одну сердитую классную даму. Пушкина нам только в первом классе стали давать и Тургенева кое-что. Правда, прелесть Тургенев?

— Как вам сказать, — не утерпел Аларин, — у него, пожалуй, многое и в архив можно сдать?

— О нет! Не говорите так! — протестовала она. — «Записки охотника» — это... я вам не сумею передать, это — божественно! Я «Накануне» читала летом на загородной даче, целые дни читала. Утром из-под подушки выну и целый день не расстаюсь с ними. Даже за обед ухитрялась приносить, конечно, потихоньку, чтобы не заметила madame Швейгер...

Но Аларина мало занимали ее рассказы, потому что он сам говорил не для нее, а для собственного удовольствия.

Его поразил ее свежий, серебристый голос.

— Скажите, пожалуйста, вы не поете? — неожиданно спросил он.

Барышня вспыхнула и, как-то совсем по-институтски, взглянув на него исподлобья, спросила:

— Почему вы это узнали?

— У вас такой чистый и полный голос, и тембр такой

богатый. Я только поэтому и предположил. Но вы все-таки поете?

— Да, я немного училась. Monsieur Орлов, наш учитель пения, говорил мне, что если я поработаю над голосом, то могу выступить на сцену. Но я ужасно стыжусь петь. У нас на масленице был концерт, и я пела в мендельсоновском дуэте: «Хотел бы в единое слово излить...» Вы слышали его?

Аларин в музыке ровно ничего не понимал, но ответил, что, к сожалению, этого дуэта не слышал, хотя обожает Мендельсона.

— Это очень известный романс, — заторопилась барышня. — Вы, верно, слышали...

Хотел бы в единое слово излить
Я, что на сердце есть! —

пропела она вполголоса первые две строчки и вдруг, спохватившись, покраснела до слез.

Аларина эти десять нежных, дрожащих нот привели в восторг.

— У вас чудный голос, — сказал он совершенно чистосердечно, — на меня пение еще никогда не производило такого впечатления, как эти несколько звуков. Как бы я хотел услышать вас с аккомпанементом!.. Вы, впрочем, извините, я до сих пор не знаю вашего имени!.. — прибавил он полувопросительно.

Они назвали друг другу свои имена и фамилии. Барышню звали Зинаидой Павловной.

— Вы до какой станции едете, Зинаида Павловна? — спросил Аларин.

— Я прямо в Р*.

— Неужели? Представьте себе, мы едем в один город. Ведь это положительно судьба, что мы с вами попали в один и тот же вагон и так хорошо разговорились. Он, конечно, сказал

про судьбу единственно «для красоты слога», но, склонная к мечтательности, Зинаида Павловна серьезно увидела в этих случайностях действие предопределения и внезапно после его слов ощутила какую-то тихую, бессознательную радость. Точно она узнала, что там, в далеком, чужом городе у нее будет близкий человек, который поддержит и защитит в случае надобности.

— И вы, по всей вероятности, едете в Р* к родным? — продолжал спрашивать Аларин.

— Нет, — отвечала она и запнулась. — Я еду туда гувернанткой...

И, быстро вскинув на него глаза, точно желая удостовериться, нет ли на его лице улыбки, она продолжала:

— Вы знаете, к нам в институт присылают для пепиньерок предложения, но я от многих больших городов отказалась, потому что думала поступить в консерваторию; только это ужасно дорого, а для стипендии надо иметь большую протекцию. А у меня мама... совсем без средств...

По институтским традициям, Зинаиде Павловне было тяжело признаться в бедности матери, но Александр Егорович производил на нее впечатление такого хорошего, сердечного человека, которому можно было рассказать «все».

— Так вам и улыбнулась консерватория? — спросил Аларин.

— Да, так и улыбнулась. Моя подруга Посникова поступила, ее тоже Зиной зовут... У нее самый простой комнатный голос, но она... хорошенькая... понятно, ей нетрудно...

Последние слова барышни звучали самой неподдельной, наивной грустью.

— Ну вот, и я должна была принять первое попавшееся место, — продолжала она, — хотя даже не знаю условий. Вы, может быть, знакомы с этим господином... фамилия его Кашперов?..

Аларин, живший в Р* уже два года, не мог не знать Кашперова.

— Скажите, пожалуйста, что это за человек, то есть кто он такой? Чем он занимается? Много у него детей? — засыпала она вопросами Александра Егоровича.

— Да не торопитесь так, я не знаю, на что отвечать. Кашперов, про которого вы спрашиваете, вдовец, у него есть маленькая дочка, необыкновенно капризное насекомое, которое раз укусило меня за палец. Сам Кашперов человек безусловно честный и собою красив, так что за ним до сих пор барыни бегают: представьте себе, седые волосы и черная борода. Какой он образ жизни ведет? Конечно, как подобает вдовцу и богатому человеку; ведь он, между прочим, страшно богат, но денег своих не прячет и делает на них много добра. Вообще он человек не совсем обыкновенного десятка. Впрочем, вы это сами увидите.

— Да, — задумчиво произнесла Зинаида Павловна, — воспитание — очень серьезное дело!

— Ну, что касается воспитания, то я положительно отвергаю его, — сказал Аларин.

— Как отвергаете? У нас сам инспектор читал педагогику и столько говорил об ее великих задачах.

— Поверьте, что он сам в это время над собой смеялся, — шутливо перебил Александр Егорович.

— Какой вы злой!.. Ну, так не будем говорить о воспитании. Вы давно живете в Р*?

— Нельзя сказать, чтобы особенно давно, но мне каждый камешек в нем опротивел. Притом вы, должно быть, слышали о нашей грязи. У нас однажды исправник с целой тройкой лошадей утонул в грязи перед городским клубом, только об этом запретили в газетах печатать. Но у нас и кроме грязи много замечательного. Во-первых, рысаки, похожие на выкормленных купцов, и, во-вторых, купцы, близкие к первобытному состоянию. Замечательно, что в этом

богоспасаемом граде живешь, как в фонарике. Представьте себе, я не только всех жителей, но даже их собак знаю по кличкам. Точно так же всему городу известно, что у меня к обеду готовится и о чем я вчера разговаривал по секрету со своим приятелем. Зато уж если наши провинциальные премьерши примутся кому-нибудь перемывать косточки, то делают это с неподражаемым совершенством, тем более что тем для такого занятия бывает много, ибо город изобилует легкими и приятными нравами.

— А вы сами, кажется, служите? Что это у вас за форма? — осведомилась Зинаида Павловна.

— Я больше по инженерной части состою... говорю «больше», так как на пристани, в порту, где, собственно, и есть место моих занятий, я существую только в виде декорации. Но у меня много частных работ; вот Кашперов ко мне тоже часто обращается.

Аларин любил говорить о себе и потому с удовольствием посвятил новую знакомую в подробности своей жизни, но когда он вскользь упомянул о матери и Зинаида Павловна наивно спросила, кто был его «рара», он осекся и кровь бросилась ему в лицо.

Однако вдруг им овладело неудержимое желание сейчас, сию минуту рассказать все до мельчайших подробностей этому чистому существу.

— Знаете ли, — произнес он медленно и значительно, — я этого никому еще не говорил, но вы, я знаю, добрая, вам не будет смешно... Я — незаконнорожденный!

Она сначала не поняла его, но потом ей стало жаль Александра Егоровича той особенной, болезненной жалостью, которую возбуждает калека или тяжелобольной человек. Она поняла, что этого пункта нельзя касаться, и продолжала молчать.

А он, преодолев первую неловкость, рассказал ей подробно всю свою биографию, причем говорил так горячо,

искренно и жалея в эту минуту самого себя, что у Зинаиды Павловны сжималось сердце.

— Ну вот, вы теперь все знаете обо мне, — закончил Аларин свой рассказ. — Это я только вам одной говорил, потому что вы не употребите во зло моего доверия... Поглядите, какая чудная ночь! — воскликнул он вдруг, заглянув в окошко.

Они оба прислонились к окну, так что их головы почти касались. А ночь действительно была необыкновенно хороша. Ветер разогнал тучи, и луна сияла на чистом темно-синем своде. В ночном пейзаже было что-то сказочное. Лужайки, окруженные кустами и залитые потоками лунного света, казались бездонными озерами; стройные прозрачные березы дремали, точно заколдованные тихой ночью. И все это призрачное, обольстительно-прекрасное царство света и теней показывалось на одну минуту и исчезало, давая место новым картинам.

— Чудная ночь, — почти шепотом повторил Александр Егорович, — не правда ли, в ней есть что-то таинственное?

— Да, таинственное... и грустное, — отвечала Зинаида Павловна, и Аларин услышал в ее голосе дрожь.

— Нет, зачем же грустное, — перебил он, — в этикие ночи мною, наоборот, овладевает прилив какой-то неудержимой отваги; теперь бы коня, и — мчаться где-нибудь в степи так, чтоб захватывало дух... Однако скоро будет светать, и вот уже огоньки нашего Р* виднеются. Собирайтесь, Зинаида Павловна, почти домой приехали.

Поезд подходил к Р*. На станции, где сходились три ветви железных дорог, была страшная суматоха. Аларин вывел растерянную и озябшую Зинаиду Павловну на крыльцо вокзала.

— Телеграфировали вы Кашперову о приезде? — спросил он, останавливаясь.

— Да.

— В таком случае должен быть экипаж! — И он закричал во все горло: — Лошади Кашперова!

— Здесь! — ответил чей-то голос. К крыльцу подъехала щегольская коляска, запряженная парой серых видных лошадей.

— Барышня приехали? — осведомился кучер, приподнимая шапку.

Зинаида Павловна, пожимаясь от ночного холода, стала прощаться с Алариным. Ей вдруг стало жалко и этой так быстро промелькнувшей ночи, и этого красивого лица, казавшегося совсем бледным при свете луны.

— Прощайте, Александр Егорович, — грустно сказала она, протягивая ему руку. — Как мне благодарить вас?

— Самой лучшей благодарностью для меня будет, — ответил Аларин, ласково смеясь, — если вы обратитесь ко мне в случае надобности.

— Непременно!

Лошади дружно тронули, и коляска загремела по камням мостовой.

III

Зинаида Павловна проснулась раньше всех в доме, несмотря на то, что накануне легла очень поздно. Проснувшись, она не могла сразу сообразить, каким образом попала в эту уютную, нарядную, как бонбоньерка, комнату, обитую розовым кретоном. Вчера она так была утомлена дорогой, что едва только коснулась головой подушки, как в ту же минуту заснула крепким сном усталого человека.

Ей не хотелось тотчас же одеваться, потому что ленивая утренняя нега овладела всем ее существом, и в памяти носилось бесформенное воспоминание чего-то светлого и хорошего.

«Что ж такое у меня есть приятного? — старалась

припомнить Зинаида Павловна, — может быть, эта комнатка?»

Комната действительно была очень красива, но от изящной отделки веяло чем-то совершенно чуждым; этот кокетливый будуар не выдерживал никакого сравнения с тесной, обитой дешевенькими обоями комнатой Зинаиды Павловны в Москве... Может быть, рояль, который она видела вчера, проходя ряд больших, со вкусом обставленных комнат, произвел на нее такое приятное впечатление? Нет, не рояль, — она тогда же подумала, что будет неловко перед хозяином часто играть на нем... Или те шесть новеньких полуимпериалов — подарок мамы при последнем прощанье, — которые она так часто пересматривала, любуясь их ярким блеском?

И вдруг в воображении девушки мелькнуло бледное от лунного света, прекрасное лицо с черными смеющимися глазами.

«Это — Аларин!» — чуть не вскрикнула, обрадовавшись, Зинаида Павловна, и сама тихо улыбнулась тому, что назвала его по фамилии.

— Милый, хорошенький, красавчик мой! — прошептала она, прижимаясь лицом к подушке с неопределенной улыбкой. — Какой у него голос славный: мягкий такой и задушевный. Любят ли его женщины? Да, конечно, любят! Разве можно его не любить? Когда он говорит или смеется, его глаза так и смотрят в душу, точно ласкают... Он, видно, очень, очень умный; когда он говорит, его можно заслушаться...

Зинаида Павловна была мечтательницей по призванию. Природа снабдила ее такой пылкой и широкой фантазией, перед необузданными размахами которой стушевывалась самая яркая действительность. Еще будучи в низших классах института, она пристрастилась к чтению. По вечерам, когда классная дама пространно и скучно объясняла ученицам

заданный к завтрашнему дню урок математики, Зинаида Павловна тихонько вынимала из стола описание какого-нибудь фантастического путешествия по девственным лесам Америки или пустыням Африки, раскладывала его на коленях и жадно погружалась в чтение, причем этот таинственный, сказочный мир увлекательного рассказа, полный жизни и благоуханий, заставлял ее забывать не только страх остаться на целый месяц без передника за невнимание к научным истинам классной дамы, но и все, что только хоть немного напоминало действительность, переставало существовать для нее в эти блаженные минуты. Стены класса раздвигаются на бесконечное пространство... звезды... громадная кровавая луна показывается из-за горизонта безбрежной пустыни, и везде одна и та же нескончаемая даль, покрытая горячим желтым песком... Луна выплывает в самую середину неба... пустыня кажется окутанной белым туманом... Мертвая тишина не нарушается ни единым звуком... И вдруг рев льва, могучий и величественный, потрясает воздух...

— Колосова, повторите все, что я сейчас объяснила, — раздается в то же время скрипучий голос.

Зина вскакивает, растерянная, ничего не понимающая...

Перед ее глазами опять грязная, измазанная мелом комната, тускло освещенная шестью казенными лампами; несколько десятков утомленных детских лиц с улыбкой глядят на ее замешательство, пред нею зеленая, повязанная косынкой физиономия наставницы.

— Извините, я не поняла... мне было не слышно, — пробует оправдаться Зина.

— А! Вам неуютно слушать мои объяснения, — скрипит классная дама, — покажите мне ту книгу, которая была у вас на коленях!..

С летами грезы Зинаиды Павловны приняли более

жгучий характер; особенно сильно повлияли на нее в этом отношении лекции истории, которую увлекательно читал симпатичный, знающий учитель. Зина слушала его со сверкающими глазами и полуоткрытым ртом, а он в минуты своих горячих импровизаций обращался к ней одной. Его объяснения не прошли даром для Зинаиды Павловны. По ночам она до мельчайших подробностей переживала все то, что ей приходилось узнать днем. Описание блеска и роскоши средневековой жизни, победы и завоевания римских цезарей гораздо меньше шевелили ее воображение, чем пассивный героизм мучеников идеи. Она так живо вызвала в своем воображении казнь Иоанна Гуса, что плакала и молилась всю ночь до утра. Она обожала Жанну д'Арк и иногда находила в ее образе и поступках много общего с собой; ей тогда начинало казаться, что и в ее груди таятся и зреют до нужной минуты могущественные силы, назначенные судьбой для каких-то великих целей. Ею овладевала тогда страшная жажда самопожертвования, желание совершить неслыханно-громадный подвиг, радостно отдать свою молодую жизнь во имя чего-то далекого и прекрасного.

Иногда Зинаида Павловна проводила целые ночи, не отрывая взора от какой-нибудь яркой звезды, между тем как в ней самой трепетали такие фантастические мечты, в которых она сама не сумела бы дать себе отчета. Весь день после такой ночи она ходила бледная, точно разбитая, на вопросы подруг говорила, что у нее болит голова, но своих задушевных грез никогда никому не поверяла. Вообще она никогда не была слишком откровенна, но каждый, кто только встречался с ней, невольно чувствовал в ней присутствие ее собственного внутреннего мира, а также то, что она в это святое святых, наверно, никого не пустит.

Зинаида Павловна долго лежала неподвижно, погруженная в свои неясные грезы, и все время задумчивая улыбка не сходила с ее лица. Она думала о том, сколько

оскорблений вынес Аларин вследствие каприза своего пресыщенного, развратного отца. Он боится насмешки; да разве можно смеяться над этим? Ведь это все равно что смеяться над человеком с оторванной ногой, над уродом от рождения! У него в речах слышится злобное презрение к людям... Он, верно, не встречал еще ни разу любящей, нежной души, которая сумела бы понять и оценить его и заставить забыть все оскорбления!.. Что, если бы Бог подарил это счастье ей!.. Какими заботами, какой нежной предупредительностью окружила бы она Аларина!..

И ее пылкое воображение в одну минуту нарисовало сцену безмятежного счастья.

Он возвращается со службы веселый и проголодавшийся. Она ждет его, с нетерпением поглядывая на часы; она нарочно заказала к обеду его любимые кушанья. За обедом он рассказывает ей все, что видел днем, пересыпая свой разговор веселыми шутками и красноречивыми взглядами. Она его внимательно слушает, не забывая, однако, о своих хозяйственных обязанностях. Когда они встают из-за стола, уже начинает темнеть. Они привыкли проводить в это время полчаса перед горящим камином... Здесь так тепло, дрова так весело трещат и сыплют тучи искр, так приятно ведутся задушевные беседы!..

Зинаиду Павловну вывел из этого состояния задумчивости легкий стук в дверь, сопровождаемый молодым женским голосом, спрашивавшим, можно ли войти. В комнату влетела хорошенькая, кокетливо одетая горничная и предложила свои услуги. Однако Зинаида Павловна, не привыкшая к тому, чтобы ей помогали одеваться, отказалась от этого.

— Благодарю вас, — сказала она, — если понадобится, я позову.

— А чай прикажете вам в комнату принести, — приставала горничная, — или изволите сойти вниз? Барин и

барышня всегда в это время кушают чай в столовой.

Зинаида Павловна предпочла сойти вниз.

«Ну, каково-то будет наше первое знакомство? — думала она не без волнения. — Во всяком случае, надо поставить себя с самого начала так, чтобы он никогда не осмелился глядеть на меня, как на «наемную»!..»

Когда она вошла в просторную, светлую столовую, навстречу ей поднялся и вышел из-за стола представительный мужчина высокого роста. У него было умное лицо с высоким белым лбом, обрамленным волнами совсем седых волос, с живыми, как у юноши, блестящими глазами и свежим чувственным ртом. В черных же усах и в бороде не виднелось ни одного седого волоса. Кашперов был одет в широкий домашний вестон²⁶, сидевший на нем просторно и изящно. Каждое движение этого человека отличалось твердой, самоуверенной грацией, свойственной сильно развитым мышцам. На вид ему было лет сорок пять, но если бы он надел шапку и скрыл этим свою седину, то никто не дал бы ему более тридцати пяти-шести лет. Однако его видная наружность не понравилась Зинаиде Павловне; ее нежному, болезненному вкусу было неприятно в мужчине преобладание грубой силы и здоровья.

«Однако ж ты, бедненькая, не из красавиц, да, кажется, еще и с характерцем», — решил, в свою очередь, после обмена обыкновенных в этих случаях фраз, Кашперов, окидывая девушку с ног до головы зорким взглядом опытного женолюбца.

Он почему-то непременно воображал себе новую гувернантку смазливой брюнеткой с бойкой речью и разбитными манерами, которая при случае с удовольствием выслушает пикантный анекдот, и попохочет, и пококетничает.

26 пиджак (от франц. veston)

При благоприятных условиях совместная жизнь с такой особой обещала много соблазнительных удовольствий.

Но перед ним стояла бледная девушка с некрасивым лицом и невинными глазами, смотревшими холодно и в то же время вполне независимо...

Пристальный, бесцеремонный взгляд Кашперова подействовал на Зинаиду Павловну самым неблагоприятным образом. Он почему-то внезапно напомнил ей вчерашнего нахала соседа, и это обстоятельство еще более усилило первое неблагоприятное впечатление. Но тем не менее она глаз своих не опустила, хотя и чувствовала себя неловко.

В то время, когда эти мысли и сравнения быстро проносились в головах у обоих, Сергей Григорьевич предупредительно расспрашивал Зинаиду Павловну, благополучно ли она доехала, нашла ли все необходимое у себя в комнате, и предложил ей место за столом.

— Вы, я думаю, не откажетесь иногда похозяичничать за чаем, — произнес он, стараясь казаться любезным, — у меня до сих пор все это делала Лиза, но у нее мало терпения и умелости. Позвольте представить вам вашу будущую ученицу...

Он показал на девочку лет четырнадцати, худую и нескладную, как всегда бывают девочки в этом возрасте; она все время осторожно, одним глазом, выглядывала из-за стоявшего перед ней самовара и при обращенных к ней словах поспешила совсем спрятаться за него.

— Только надо вам сказать, она у меня страшный дичок, — продолжал Кашперов, — и при чужих ее ни за что не выгатишь из какого-нибудь угла... Лиза, подойди к Зинаиде Павловне!.. Нет, ни за что не послушается!..

— Лиза, отчего вы не хотите подойти познакомиться со мною? — спросила Зинаида Павловна, впрочем, невольно обращаясь больше к самовару, чем к спрятавшейся за ним дикарке. — Она у вас, может быть, немного... запугана? —

спросила она Кашперова.

Тот вдруг громко расхохотался и сквозь смех едва проговорил:

— Мне смешно, как вы сразу уже начинаете свои педагогические наблюдения и притом таким деловым тоном. Но что касается Лизы, — продолжал он уже серьезно, — то заранее говорю вам, что никакие средства, если она чего не захочет, не помогут. К вам она еще долго будет избегать подходить...

Но в это время девочка, робко выглянув еще раз из-за своего убежища, совершенно неожиданно встала и подошла к Зинаиде Павловне, краснея от замешательства. Она некоторое время постояла в нерешительности и вдруг, вероятно уже окончательно побежденная ласковой улыбкой своей будущей гувернантки, быстро обвила руками ее шею и поцеловала в самые губы.

— Правда, Лиза, мы с вами будем друзьями? — шепнула ей на ухо растроганная этой лаской Зинаида Павловна. — Вы ведь не будете от меня бегать? Да?

— Нет, не буду никогда, — еще тише ответила девочка, глядя в землю, — вы... добрая...

— Bravo, Зинаида Павловна! Однако вы сразу сделали уже громадный успех, завоевав расположение этой капризницы! — воскликнул Кашперов. — Поверите ли, я в первый раз вижу, чтобы Лиза сама подошла к кому-нибудь, кроме двух существ в мире: своей старой няньки и собачонки Крошки. У вас, должно быть, необыкновенно добрая душа, — дети на это ведь чуткий народ. Или вы владеете, может быть, каким-нибудь педагогическим секретом? — И он опять расхохотался.

Зинаида Павловна ничего не отвечала. Ее коробили и пристальный взгляд, и громкий, действительно неприятный смех, и насмешливо-снисходительный тон Кашперова. «Почему он говорит со мной как с девочкой? — думала

она. — Или он уже смотрит на меня, как на свою собственность, как на «что-то» закупленное им, над чем можно беспрепятственно практиковать дешевое остроумие?»

Она, конечно, ошиблась, потому что Кашперов вообще был деликатен с чужим самолюбием, но у него уже давно выработалась манера говорить со всеми женщинами несколько небрежно и самоуверенно, а чуткое ухо Зинаиды Павловны, не изведавшей еще настоящих жизненных передряг, готово было в каждом слове находить намек на обиду.

Кашперов пытался поддержать неклеившийся разговор: он рассказывал о городе, о бирже, о своем заводе и о новой, выписанной из-за границы динамо-электрической машине, расспрашивал о Москве и институтской жизни. Но ему приходилось все время говорить одному. Зинаида Павловна совершенно ушла в себя и на все вопросы отвечала короткими «да» и «нет».

Они в молчании допили свой чай и разошлись, вынеся друг о друге неприятное впечатление.

«Странная девчонка, — думал Кашперов, садясь в пролетку, чтобы ехать на завод, — только что сорвалась со скамейки, нищая, а держит себя совсем недотрогой.

Жалко, однако, будет, если мы с ней поссоримся. Лизку сразу к ней потянуло... может быть, и вправду какой-нибудь прок выйдет. Душонка у ней добренькая, это что говорить... да собой-то она уж очень не того...»

В то же время, хотя Кашперов и не терпел ни в ком подобострастия, но спокойная независимость, которая невольно чувствовалась в этой гувернантке — существо обыкновенно жалком и подвластном, — сильно его удивляла.

Зинаида Павловна, выйдя из-за стола, хотела пойти в свою комнату, чтобы написать письмо. Она уже поднималась по лестнице, как услышала за собою торопливые шаги и, обернувшись, увидела бегущую к ней Лизу.

— Милая Зинаида Павловна, — сказала девочка, обхватывая ее за талию, — я у вас хочу кое-что спросить, только вы обещайте, что не рассердитесь...

— Ну, хорошо, не рассержусь, — ответила Зинаида Павловна, рассмеявшись. — Что же это за важная вещь? Спрашивайте.

— Скажите мне, пожалуйста: ведь мой папа не понравился вам?

— Нет, Лиза, это вам только показалось, — поспешила разуверить девочку Зинаида Павловна, удивляясь в то же время ее детской прозорливости, — наоборот, ваш папа произвел на меня очень приятное впечатление...

— Ах, зачем же говорить неправду? Я знаю, вам папа показался таким... нет, не злым, а грубым... ну, да я не умею объяснить...

— С чего это вы взяли?

— Нет, я наверно знаю, потому что у вас было такое же лицо, как бывало у мамы, когда папа скажет что-нибудь резкое, а она замолчит и на все его вопросы не отвечает...

— Давно ваша мама умерла?

Девочка задумалась: видно было, что какое-то обстоятельство затрудняет ее в ответе.

— Видите ли, — сказала она вдруг с внезапным порывом откровенности, — я вам расскажу, только никому не говорите, потому что это рассказывать нельзя. Моя мама жива, но она уже давно уехала куда-то, и когда я спрашиваю про нее у папы, то он на меня сердится...

Это открытие поразило Зинаиду Павловну. Для нее, смотревшей на брак как на таинственные, священные узы, муж и жена, живущие врозь, были каким-то чудовищным явлением, и она мысленно поспешила обвинить во всем Кашперова. Конечно, несчастная женщина не могла ужиться с этим неприятным человеком; может быть, она теперь мучится всю жизнь и прокликает ту минуту, когда связала с ним свою

судьбу... Разговаривая таким образом, они дошли до дверей комнаты Зинаиды Павловны.

— Можно мне к вам зайти? — спросила Лиза, умильно заглядывая в лицо своей гувернантки.

Конечно, она получила согласие. Тогда она осторожно пересмотрела все вещи Зинаиды Павловны, расспросила, для чего употребляется каждый флакончик, каждый клочок бумажки; затем, все время, пока Зинаида Павловна писала письмо, она сидела, не сводя с нее взора.

— Вы кончили? — спросила она, когда Зинаида Павловна стала заклеивать конверт.

— Кончила, а что?

— Я все время смотрела на вас, и, знаете, вы — ужасно милая! Можно мне поцеловать вас?

IV

Однажды Кашперов приехал к обеду в самом сияющем расположении духа: дела на заводе шли прекрасно, погода была ясная и холодная, и, проехавшись с завода верхом, Сергей Григорьевич чувствовал сильный аппетит.

Когда Зинаида Павловна налила ему полную тарелку горячего супа, он совсем развеселился: действительно, эта девушка обладала удивительной способностью придавать всему, за что только она ни бралась, отпечаток той свежести и женской аккуратности, которой было полно все ее существо.

— Знаете ли, великая вещь, если за столом хозяйничает хорошенькая женщина, — сказал Кашперов весело и дружелюбно, — ведь на первый взгляд кажется, что это — предрассудок, а между тем, ей-богу, все приобретает особенно приятный вкус и даже аппетит удесятывается.

Кашперов хотел своим полушутливым, полудружеским обращением хотя немного расположить к живому разговору Зинаиду Павловну, эту «диконькую барышню», которая, как

он инстинктивно чувствовал, боялась и избегала его. Сегодня, когда яркие солнечные лучи так весело заливали столовую, когда в душе у Кашперова так сильно сказывалось радостное ощущение жизни, ему неприятно было видеть хмурое лицо гувернантки.

— Да что ж вы молчите, точно в воду опущенная, Зинаида Павловна? — досадливо прибавил он, не дождавшись ответа. — Вы, кажется, с первых шагов уже имеете что-то против меня. Оставьте, голубушка моя; ведь это — институтство!.. Я даже не могу понять: щекотливость ли заставляет вас так относиться ко мне или же вы просто-напросто капризничаете!..

Зинаида Павловна подняла на него с упреком взор своих детских глаз.

— Для чего вы смеетесь надо мной, Сергей Григорьевич? — с упреком произнесла она внезапно дрогнувшим голосом.

— Как смеюсь?! — удивился Кашперов. — Да у меня и мысли такой в голове не было, чтобы смеяться. Когда? В чем вы могли усмотреть насмешку? Я, право, отказываюсь понимать вас.

— Да вот вы сейчас нарочно упомянули про каких-то хорошеньких женщин... Поверьте, я никогда не обольщалась своей наружностью и знаю о том, что некрасива... Но с какой стати вам было напоминать об этом?..

— Позвольте, Зинаида Павловна, успокойтесь, ради бога, — почти в отчаянии сказал Сергей Григорьевич, — ведь это же, наконец, ужасно, что вы обо мне думаете!.. Ну, если хотите, я с вами никогда не буду ни о чем, кроме дела, говорить. Мне страшно неприятно, что вы с первых же дней видите во мне врага. Уверяю вас, я вовсе не такое чудовище, каким кажусь.

Зинаида Павловна ничего не ответила, но, как только обед кончился, тотчас же встала, ушла в свою комнату и со

слезами бросилась лицом в подушку.

Скоро жизнь в доме Кашперова потекла обычным, размеренным ходом. Он приезжал только на минуточку и при встречах с Зинаидой Павловной был официально вежлив, в остальное же время совершенно позабывал об ее существовании.

Она, в свою очередь, все время посвящала исключительно Лизе. В девочке складывалась богатая натура, стремительная в своих побуждениях и отзывчивая на все хорошее. Зинаида Павловна без всякого труда, исподволь приохотила ее к музыке и рисованию; учење же шло у них довольно вяло, потому что ни гувернантка, ни воспитанница не имели достаточно выдержки... Но один случай неожиданно возмутил однообразное спокойствие этой жизни и совершенно перевернул вверх дном судьбу всех ее участников.

В начале декабря у Кашперова выдался свободный вечер, который он не знал, куда употребить. Он ходил без цели по комнатам, заложив руки в карманы, и производил в уме какое-то математическое вычисление для своего завода.

Было то странное время дня, когда потухающий день слабо борется с надвигающеюся темнотою, придавая всему какое-то грустное освещение, располагающее к тихой мечтательности.

Случайно проходя мимо дверей залы, Кашперов услышал, что кто-то берет на рояле мягкие аккорды, и хотел было войти туда, но в это время до него донесся голос Зинаиды Павловны, разговаривавшей с Лизой. Кашперов остановился за портьерой и стал прислушиваться.

— Ну, что же я вам спою, Лиза? У меня, кажется, больше ничего не осталось, чего бы вы не слышали, — сказала Зинаида Павловна.

— Душечка, ну спойте, что вам первое придет в голову! — горячо упрашивала Лиза.

— Помните, вы пели что-то из «Фауста»? Ну, теперь еще один разик; я уж больше не буду приставать...

— Ну, хорошо, хорошо, не теребите только меня, а то зацелуете до смерти, — ответила Зинаида Павловна, смеясь и отбиваясь от порывистых ласк своей воспитанницы.

— Вам темно, Зинаида Павловна! Может быть, зажечь свечи? — спросила Лиза.

— Не надо, прошу вас, не зажигайте, я буду наизусть играть... Ну, слушайте... И она начала играть второй акт, изредка объясняя содержание музыки.

— Вот это — народный праздник во время ярмарки... Мефистофель приводит туда и Фауста... Слушайте, какой чудный вальс, лучше его нет ни одного вальса в мире... Маргарита проходит с молитвенником... Фауст поражен ее красотой... Он долго смотрит в восхищении издали, а затем подходит к ней...

И она запела на низких нотах своего голоса известные слова: «Позвольте предложить, прелестная, вам руку...»

— Маргарита взглянула на него, потупилась и тихо отвечает: «Ах, не блещу я красотой и потому не стою рыцарской руки...»

Кашперов хорошо знал оперу «Фауст», слышал ее в исполнении европейских знаменитостей и всегда любил ее. Но теперь фраза, так нежно пропетая серебристым голосом Зинаиды Павловны, совершенно потрясла его.

Из таинственной полутьмы, царившей в зале, лились один за другим звуки мелодии, полные наивной грусти, и в уме Кашперова с поразительной ясностью восстал образ Зинаиды Павловны, с ее девственным молодым обликом и спокойными глазами, ясными, как утреннее небо.

«Да, она Маргарита, — невольно пронеслось у него в уме, — только кто же будет ее Фаустом?»

Сергей Григорьевич, часто и близко сталкиваясь с различными женскими характерами, так изучил все перипетии

любви, все мельчайшие оттенки в тоне и взгляде, что почти никогда не ошибался в своих заключениях на этот счет, и теперь, когда голос Зинаиды Павловны дрожал, замирая на последней ноте, он сказал себе: «Да, у нее есть Фауст, потому что никакая выучка не может придать музыке такой глубины чувства... Вероятно, кузен... какой-нибудь юнкер или гимназист...»

Зинаида Павловна замолкла. Настала такая тишина, что Кашперову казалось, будто стук его сердца раздается по всему дому.

— Ну, дальше, Зинаида Павловна, — взволнованным шепотом проговорила Лиза, — милая Зиночка, дальше!..

— А дальше то, — тихо отозвалась через некоторое время Зинаида Павловна, — что Фауст скоро позабыл о Маргарите, а она... она никак не может позабыть о нем...

«Я не ошибся, — решил Кашперов, услышав, сколько затаенной грусти прозвучало в последних словах, — да притом еще, кажется, ее Фауст не подает никакой надежды на взаимность».

— Ну, слушайте еще, — заговорила опять Зинаида Павловна, — только уж в самый последний раз. Маргарита сидит за прялкой и поет.

И опять, вместе со сказкой о фульском короле, полился этот чистый, хватающий за сердце голос.

«Боже мой, какая прелесть, — думал Кашперов, с жадностью ловя каждую ноту. — Вот оно, истинное наслаждение. Но где же эта бедная девушка могла обрести такие чудные звуки?...»

Он чувствовал, что у него в глазах стоят слезы. В то же время им овладел прилив какой-то безграничной, смутной злобы... «Уж не ее ли Фауст так огорчает меня?» — насмешливо спросил он себя и не мог ответить на этот вопрос.

— Ну, теперь довольно, — сказала Зинаида Павловна, окончив сказку и громко захлопнув ноты, — нервы

расстраивать не годится. Ловите меня, Лиза!

И она побежала, сопровождаемая Лизой, и откуда-то, издалека, донесся до слуха Кашперова ее смех, рассыпавшийся в серебристых трелях.

«Однако я размяк порядком», — с озлоблением решил Сергей Григорьевич и тотчас же велел закладывать себе лошадь. Он очень долго остался в этот вечер на заводе, особенно тщательно наблюдал за его ходом, бессознательно стараясь как можно больше угомониться.

Ему удалось привести себя в уравновешенное состояние, но, когда поздно ночью он уже окончательно улегся в постель и потушил свечу, из темноты вдруг нежно и задумчиво прозвучало: «Ах, не блещу я красотой...»

— Тьфу ты, черт побери! — сердито отплюнулся Сергей Григорьевич. — Нужно же было этой итальянщины наслушаться!

Хотя Кашперов и отплевывался так энергично, тем не менее на другой день, едва только начало смеркаться, он уже стоял на том же месте за портьерой... Он прождал около получаса, пока наконец пришла Зинаида Павловна и села за рояль.

На этот раз Лизы с ней не было. Она долго брала рассеянные аккорды, потом заиграла бурную интродукцию шубертовского «ErlkЖnig»²⁷ и запела. Но она не кончила баллады и, оборвав ее на середине, перешла сразу в C-мол'ный вальс Шопена.

Когда она перестала играть и сидела, задумчиво трогая пальцами клавиши, Кашперов нечаянно скрипнул дверью. Звуки прекратились совсем: по-видимому, Зинаида Павловна прислушалась. Оставаться долее за портьерой становилось неудобно, и Сергей Григорьевич предпочел войти в залу.

²⁷ «Лесного царя» (нем.)

— Извините, Зинаида Павловна, — мягко сказал он, — я подслушивал вас. Но вы ведь не стали бы при мне играть? А между тем я получил столько наслаждения, стоя вот здесь... за дверью.

Зинаида Павловна, при виде этого человека, с которым она всегда избегала встречаться, быстро встала с своего места.

— Извините, кажется, я своей музыкой помешала вам заниматься? Я постараюсь больше не делать этого!

И она направилась к дверям, стараясь обойти его подалее.

— Да подождите же, ради самого бога, Зинаида Павловна! — почти закричал Кашперов, хватая ее руку. — Неужели вам даже быть со мною в одной комнате гадко? Поймите вы наконец, — умоляю вас, — что между нами лежит какое-то чудовищное недоразумение... Разве я не вижу, что если бы не Лиза, которая к вам привязалась, то вы давно оставили бы мой дом...

— Да, вы не ошибаетесь в этом, — отвечала Зинаида Павловна, не глядя на него и вырывая свою руку из его горячей, сильной руки, — но если вам только хотелось напомнить об этом, то вы могли бы не трудиться начинать издали...

— Ну вот, опять точно так же, как и в первый раз, вы нарочно не хотите понять меня, — досадливо перебил ее Кашперов и быстро заговорил, боясь, что она уйдет, не выслушав его, — вы смотрите на меня с предубеждением, почему-то отказываете мне даже в таком человеческом чувстве, как любовь к музыке... Да где же здесь кроется моя вина? Поверите ли, я — сильный человек, я лошадиные подковы гну, я никогда не знал, что такое нервы, но вчера, стоя за портьерой, чувствовал на своих глазах слезы. И, раз вы обладаете силой действовать так своим искусством, вам грешно было враждебно отнестись к моему восторгу! Вы не имели права отказывать мне в этом наслаждении!.. Наконец,

все это — ломание, все это — страшно неестественно!

В его голосе слышалось волнение. Зинаида Павловна внимательно и пытливо взглянула ему в лицо своими невинными глазами.

Нет, он не лгал, потому что его щеки пылали и глаза горели, но ей это горячее увлечение было и чуждо и непонятно.

— Я не понимаю вас, Сергей Григорьевич, — холодно произнесла она и быстро вышла из зала.

Между ними действительно лежало недоразумение.

«Что мне в этой девчонке? — злился через несколько часов Кашперов, ворочаясь на своей кровати. — Отчего я не могу ни о чем думать, кроме нее? Ведь не мог же я влюбиться? Правда, в ней есть что-то влекущее: эти ясные глаза, эта женственность... Да что же мне-то до нее за дело? «В Фуле жил да был король...» Да, с таким голосом можно совсем перевернуть человека! Откуда у нее эта выразительность? Кто с ней занимался? Или, может быть, она уже любила и мучилась? «И до самой своей смерти он...» Ах, черт побери, да засну ли я наконец в эту проклятую ночь?.. Вот тебе и хваленое равновесие... Недостает еще, чтобы я начал принимать валерьяновые капли!..»

Кашперов влюбился. Он уже давно, лет десять тому назад, оставил всякие любовные глупости, пресытившись женским вниманием, которое ему давалось чересчур легко, и стал исключительно человеком дела. Но в былое время самые опытные в деле ведения интриг, прошедшие сквозь огонь и воду женщины всегда говорили, что в нем есть «что-то магнетическое».

Действительно, он тогда в своих желаниях не признавал препятствий: чем больше их было, тем сильнее разгоралось в нем желание достигнуть заветной цели, и он смело шагал через них, обольщая дерзостью и поработывая слабую волю женщины своей дикой, необузданной волей. Но

как только цель бывала достигнута, ему становилось скучно; впереди рисовались другие заманчивые перспективы, иные соблазны. И судьба, как будто умышленно, покровительствовала ему, все предприятия этого человека носили на себе печать необыкновенного успеха. Он играл, рискуя последним, и всегда был баснословно счастлив; ударился в коммерческие предприятия и неожиданно для всех разбогател. В любви, как и во всем остальном, он не знал проигрыша, но шатание по женским сердцам интересовало его только до тех пор, пока он не убедился, что, в сущности, нового ни в одном из них не встретишь.

А теперь перед ним, как живой, стоял нежный образ бледной девушки, с синими прозрачными глазами и пленительным голосом, и он не знал, как к нему приступить, с чего начать.

— Нет, врешь, я тебя пересилю, — озлобленно шептал уже на рассвете Кашперов, весь охваченный взрывом запоздалой любви, — я заставлю тебя! Пусть ты чиста, я в тебе разбуду такие инстинкты, в которых ты сама себя не узнаешь! Он говорил эти слова, полные безумной страсти, и в то же время ни одной секунды не верил себе, а в душе его грустный голос пел: «Ах, не блещу я красотой!»

V

Почти во всяком городе, среди так называемого «общества», есть личности, которые хотя и пользуются всеми внешними знаками уважения, но существование которых, подверженное разным неожиданным превратностям, не может не быть подозрительным даже для самого близорукого наблюдателя. Конечно, никто даже в мыслях не подумает назвать их «темными личностями», потому что темная личность ходит обыкновенно в отрепьях, одна штанина навывпуск, другая — в сапоге, говорит возвышенным слогом,

называя себя благородным офицером, пострадавшим за правду, и не выдерживает более двух секунд внимательно устремленного на нее взгляда. Но зато каждый мирный обыватель, который вчера только видел одного из них в самом бедственном положении, а нынче застаёт его в шикарном ресторане, бросающего без счета совершенно новенькими кредитками, невольно начинает терзаться смутной мыслью: не придется ли ему, ни в чем не повинному обывателю, и даже в самом непродолжительном времени, расплачиваться за этот бесшабашный кутеж?

К числу таких загадочных личностей принадлежал Павел Афанасьевич Круковский, у которого вечером на второй день Нового года собралось все, что было хоть немного похоже на интеллигенцию в городе Р*. Павел Афанасьевич давал такие вечера раза четыре в год, иногда положительно без всякого повода, и нигде с таким удовольствием не веселилась молодежь, нигде за ужином не лилось столько шампанского и нигде после ужина не велась такая сумасшедшая игра, рассказы о которой долгое время ходили потом по всей губернии, как у него. Между тем никто из посещавших вечера Круковского никогда не мог бы дать себе отчета, на какие средства все это делается. Правда, Круковский уверял, что у него в Пензенской губернии есть огромное имение, куда он на будущий год собирается уехать, потому что «нельзя же полагаться на подлеца управляющего», но это доброе намерение так и оставалось всегда невыполненным. Его изредка видали на бирже, озабоченно шепчущимся с «зайцами», видали за карточным столом, где он выигрывал и проигрывал совершенно хладнокровно огромные суммы, но каков был специальный род его занятий, оставалось покрыто непроницаемым мраком неизвестности.

На этот раз съезд у Круковского был громадный: трое городских работали в поте лица перед его домом, тщетно стараясь восстановить порядок, беспрестанно нарушаемый

подъезжающими каретами, «семейными» санками и такими экипажами, не известными нигде — кроме Р-ской губернии, для которых нет названий ни на каком языке.

Из ярко освещенных окон неслись красивые звуки военной музыки, игравшей веселую польку, в окнах виднелись, привлекая внимание толпы, собравшейся на улице, разряженные фигуры гостей.

К крыльцу подъехали низенькие сани Кашперова. Кучер едва сдерживал великолепного черного рысака, который храпел, косясь испуганным глазом на сияющий подъезд, и в нетерпении бил передними ногами.

Сергей Григорьевич быстро выскочил из саней и помог выбраться сначала Зинаиде Павловне, а потом дочери.

Это был первый бал, на который Зинаида Павловна уговорила поехать свою воспитанницу. Лиза ужасно волновалась. При одеванье, всегда сдержанная с прислугой, она закричала на горничную, неловко затягивавшую шнуровку корсета, а когда Сергей Григорьевич, совсем уже одетый, крикнул через дверь, что пора ехать, ею вдруг овладел такой страх, что она в изнеможении опустилась на стул. Всю дорогу девочка ехала молча, тревожно выглядывая из-под окутывавшего ее большого коврового платка. Теперь же, когда, слегка вздрагивая от волнения и не прошедшего еще ощущения холода, она раздевалась в уборной, страх совершенно неожиданно исчез. Блеск и шум, господствовавшие в уборной, смешанный запах разных духов, красивые туалеты дам, подмывающий мотив польки, глухо доносившийся сверху, — одним словом, все эта опьяняющая атмосфера первого бала лихорадочно оживила Лизу, и когда она в сопровождении Зинаиды Павловны входила в залу, то какое-то внутреннее ощущение говорило ей, что она чрезвычайно мила в эту минуту. Действительно, ее заметили и в один миг расхватили у нее все танцы... Усталая, задыхающаяся, со сбившимися волосами, она сияла

счастливой улыбкой и едва только присаживалась на место, как новый кавалер увлекал ее в круг танцующих.

Зинаида Павловна с удовольствием следила глазами за своей любимицей. Она знала, что ее, одетую чуть ли не в домашнее простенькое платьице, бледную и некрасивую, никто не станет приглашать (она привыкла к этому еще в институте), и потому скромно заняла один из тех дальних уголков залы, которые самой судьбой предназначены для разного рода безличных существ: маменек в невозможных чепцах и озлобленно зевающих наперсниц. Успех Лизы искренне радовал Зинаиду Павловну, но хотя она и была чужда мелочной завистливости кисейных барышень, тем не менее не могла избавиться от грустного сознания, что ей не место среди этого праздника красоты и молодости, счастливых улыбок, нежных фраз, грациозных, согласных движений.

Какой-то пестрый «молодой человек», по всем признакам мелкий канцелярский чиновник с дряблым, испитым лицом, украшенным нафабранными усами и огненным галстуком, потеряв случайно даму на кадрили, разлетелся впопыхах к Зинаиде Павловне и пригласил ее, но, увидев незнакомое лицо, скучное и некрасивое, в смущении заегозил на месте. Это не укрылось от Зинаиды Павловны, и едва только она отказала акцизнику, он радостно вздохнул и побежал дальше той развязной иноходью, которая до сих пор еще употребляется на вечерах провинциальными «львами» как несомненный признак щегольства и хорошего тона.

— Зинаида Павловна! Наконец-то я нашел вас! — раздался над нею приветливый голос.

Она вся радостно вздрогнула и подняла голову: перед ней стоял, дружелюбно улыбаясь и протягивая руку, Аларин. Он был удивительно хорош в эту минуту; безукоризненного покроя фрак ловко обрисовывал его изящную фигуру, черные волосы живописно вились вокруг его красивого открытого

лица.

Зинаида Павловна вспыхнула от неожиданного прилива громадного, еще ни разу не изведенного счастья. Этот красавец, постоянный предмет ее ночных девических грез, о мимолетной встрече с которым она вспоминала как о волшебном, прекрасном сне, опять был подле нее, все такой же обаятельный, с тем же чарующим взглядом своих черных глаз.

Она ничего не могла ответить, кроме взволнованного «здравствуйте», хотя на язык ей и просились горячие, полные восторга слова.

— Я как только увидел Кашперова, — заговорил Аларин, опускаясь рядом с нею на стул, — так сейчас же подумал, что вы здесь, но насилу мог отыскать, так вы далеко запрятались.

— Я не танцую, — ответила Зинаида Павловна, не сводя с него восхищенного взора.

— А наблюдаете только? Действительно, здесь для наблюдения обильная пища. Знаете ли, что меня постоянно смешит на балах? Это — страшная неестественность, которая всеми овладевает. Да и не на балах только, а и на гуляньях, в театрах, в суде, — одним словом, перед лицом публики.

— Отчего же вы думаете, что все чувствуют себя неловко? Посмотрите, вот, например, пара; разве можно предположить, что сегодняшней вечер не самый веселый в их жизни? — И Зинаида Павловна указала глазами на полную даму с лицом пожилой певицы или цыганки из кафешантана, одетую в розовое шелковое платье, вырезанное до последних границ приличия, проходившую под руку с высоким бакенбардистом в очках и заливавшуюся непринужденным хохотом.

— Вот вы и ошиблись, — возразил Аларин, — у этой пары на уме вовсе не смех, а самое пылкое желание вцепиться друг другу в глаза. Дама в розовом платье, видите ли, жена

нашего исправника, а ее кавалер — здешний прокурор. А прокурор и исправник поклялись взаимно в такой непримиримой вражде, что если даже опустеет весь мир, то они все-таки не перестанут истреблять друг друга до тех пор, пока от обоих не останутся только кончики хвостов. И выходит, что этот заразительный смех — те же крокодиловы слезы!

— Ну, это, положим, частный случай; но поглядите кругом, разве вы мало видите веселых лиц?

— Уверю вас, настоящего веселья нет ни капли, все это страшно фальшиво и натянуто. Человек улыбается и заботится о том, чтобы его телячья улыбка произвела впечатление, разговаривает и старается делать грациозные жесты. Посмотрите, вот идут два офицера, — ведь они как будто горячо спорят между собою о чем-то, а, в сущности, оба городят страшный вздор и изо всех сил стараются привлечь на себя общее внимание. Ну разве бывают у людей, собравшихся повеселиться, такие выпяченные груди и такая неправдоподобная походка? Так ведь только ходят короли и военачальники в операх...

Зинаида Павловна поглядела на офицеров и не могла не улыбнуться удачному сравнению Аларина.

— Однако же вы беспощадны, Александр Егорович. Неужели вы надо всеми так зло издеваетесь? — спросила она.

— Надо всеми, потому что это — лучшее средство не быть никогда самому осмеянным.

— Но для чего же вы бываете на балах, если они в вас ничего, кроме насмешки, не возбуждают?

— А вот именно для того, чтобы посмеяться; так или иначе, а это похвальное желание свойственно каждому из нас, грешных. Но, кроме того, меня тянет еще вон та комнатка, в которой можно испытать самые сильные ощущения в мире, — и Аларин показал рукой на растворенные двери кабинета, где среди облаков дыма виднелись солидные фигуры почтенных

представителей дворянства, чинно сидящих за зелеными столиками.

— Неужели вы играете в карты? Ведь это, должно быть, ужасно скучно?

— Я играю только в азартные игры.

— Какие это азартные? Объясните, пожалуйста, я не понимаю.

— Самый простой способ наживы: я беру в руку сторублевую кредитку, подхожу к вам и говорю: «В какой руке?» Вы говорите: «В правой». Угадали — сторублевка ваша, не угадали — позвольте мне столько же. Это, собственно говоря, идея, но, конечно, умные люди додумались до множества вариантов ее и даже до целых теорий о счастье!

Зинаида Павловна широко раскрыла глаза.

— Но ведь это возмутительно, — произнесла она, пораженная его объяснением, — это... извините меня, пожалуйста, но ведь это похоже на грабеж... А если я увлекусь, проиграю больше, чем у меня есть?

Аларин заметил ужас Зинаиды Павловны, и им овладело желание порисоваться.

— Разные бывают способы, — ответил он, щеголяя напускным хладнокровием, — некоторые предпочитают в этих случаях спасаться бегством, другие — пускают себе в лоб пулю... Да вообще сильные ощущения даром не даются, — человек во время игры становится самым опасным из всех диких зверей.

— Господи, неужели и вы?..

— Зинаида Павловна, не судите меня так строго: вам жизнь — новинка, а между тем она так мелка, так ничтожна, так бедна чем-нибудь шевелящим воображение... А в игре — страсть!.. Каждый нерв живет... чувствуешь биение каждой жилы... И вовсе не деньги влекут... а счастье, счастье, одно только милое, нелепое счастье. Ведь я — добрый человек, я

готов со всяким нищим поделиться, но вы не поймете, что это за необъяснимое блаженство пустить в один вечер по миру два или три почтенных семейства.

При последних словах Зинаида Павловна побледнела.

— Не говорите так, Александр Егорович, прошу вас, — сказала она с грустным упреком, — вы не можете быть таким... вы клеветеете на себя!..

Аларин поглядел на нее с изумлением: от него не ускользнули ни ее бледность, ни то глубокое чувство, с которым она произнесла эти слова.

— Да вы не подумайте, Зинаида Павловна, — воскликнул он веселым, добродушным голосом, — что я какой-нибудь драматический злодей... я просто, как художник, увлекся картиной, и больше ничего. Пойдемте танцевать вальс!

И он встал, приглашая ее красивым поклоном. Аларин прекрасно вальсировал. Зинаида Павловна совершенно отдалась в его волю, и они быстро закружились под плавные, упоительные звуки. Ей казалось, что горевшие по стенам бра сливаются в один громадный огненный круг... голова кружилась... глаза ничего не различали. Она чувствовала на своих волосах горячее, прерывистое дыхание Аларина, чувствовала его сильную руку, плотно лежащую на ее талии. Какие-то волны блаженства подняли и несли ее все выше и выше... Это было какое-то чудное, сладкое забытие, — состояние, подобного которому она еще никогда не испытывала.

— Мерси! — едва могла, наконец, проговорить Зинаида Павловна, еле дыша от утомления. — Пожалуйста, уведите меня куда-нибудь из залы, здесь ужасно душно.

Они пошли по направлению к дверям, но вдруг Зинаида Павловна, как будто вследствие внезапного толчка, который испытывает человек, если ему упорно глядят в затылок, быстро обернулась назад.

Из глубокой амбразуры окна на нее жадно и пристально смотрели два сверкающих глаза. Девушка вся сжалась от ощущения инстинктивного страха и, прильнув к локтю своего кавалера, торопливо прошептала:

— Ради бога, скорее... скорее...

Они дошли до маленькой, никем не занятой гостиной. В этой комнате, заставленной роскошной мягкой мебелью и залитой розовым полусветом, струившимся из висячего фонарика, было тихо и прохладно.

— Чего вы так испугались, Зинаида Павловна? — спросил Аларин, когда они уселись на диван. — Я начинаю предполагать здесь что-то таинственное. Может быть, вам понадобится, как в старинных сказках, храбрый рыцарь, который избавил бы свою даму от каких-нибудь магических чар?

Он видел замешательство Зинаиды Павловны и хотел разогнать его веселой шуткой.

— Благодарю вас, — ответила она, все еще не оправившись от овладевшего ею волнения, — мне просто стало очень нехорошо, потому что я отвыкла от вальса... — И вдруг у нее совершенно неожиданно сорвалось с языка: — Кроме того... эти ужасные глаза...

«Ага! — подумал Аларин, — стало быть, действительно что-то есть», — и он спросил серьезно и значительно:

— Помните, Зинаида Павловна, наш уговор?

— Какой уговор?

Она отлично знала, что напоминает Аларин, но ей казалось, что если бы она ответила прямо, то ее тон выдал бы то радостное волнение, которое охватило ее при этом вопросе.

— Когда мы прощались после нашей первой встречи, вы обещали обратиться ко мне в затруднительных обстоятельствах. Может быть, это время уже настало?

— Не... не знаю, — тихо ответила она, опустив низко

голове.

— Значит, я не ошибся, Зинаида Павловна! Скажите мне правду: ответите ли вы на один мой вопрос?

Она уже почувствовала, что он понял ее, знала даже, в чем будет заключаться его вопрос.

«Если верно, то «да», — подумала она про себя, не сознавая, впрочем, ясно, в чем будет заключаться это «да».

— Хорошо, я отвечу вам, — сказала она, с замиранием сердца ожидая вопроса. Аларин произнес только одно слово:

— Кашперов?

«Да!» — пронеслось быстрее молнии в голове Зинаиды Павловны, но она не сказала ни одного слова, а только еще ниже опустила свое лицо, загоревшееся ярким румянцем. Ей казалось, что Аларин читает в сокровенных тайниках ее души. Прошло несколько минут в молчании.

— Он преследует вас? — спросил Аларин, стараясь произнести эти слова по возможности мягче и деликатнее. — Давно?

Зинаида Павловна не могла больше сдерживаться и, нервно сжав руки, так что ее тонкие пальцы хрустнули, горячо заговорила:

— Я не знаю, что ему надо от меня! С того несчастного вечера, когда я играла на рояле и пела что-то из «Фауста», он не дает мне покоя. Он ничего не говорит, да и не может сказать, потому что я избегаю его... но он смотрит на меня такими ужасными глазами, что у меня теперь постоянно предчувствие чего-то очень нехорошего... Я боюсь этого человека, — добавила она дрогнувшим голосом.

— Я понимаю вас, — задумчиво сказал Аларин. — Но вы, должно быть, с самой первой встречи отнеслись к нему сухо и враждебно?

— Да.

— Это ничего доброго не обещает. Кашперов один из тех людей, про которых Гейне сказал: «Сударыня, если вы

хотите заслужить мою любовь, то должны обращаться со мной, как с канальей!» Их тянет к себе только невозможное, а препятствия еще сильнее раздражают. Мой искренний совет вам: ехать как можно скорее домой. Кашперов — такая сила, с которой считаться вам, слабой и нежной девушке, — трудно. Я знаю, что ни с вашей, ни с его стороны никакие компромиссы немыслимы, а чем может все это кончиться — трудно даже предположить... Уезжайте, ради бога, скорее.

Аларин очень жалел эту девушку, которая с первой же встречи завоевала его симпатию своею беззащитностью.

— Разве я об этом не думала раньше? — возразила Зинаида Павловна, — но мне все как-то жаль было оставить Лизу, — девочка очень полюбила меня. Да и маму надо было бы предупредить, а то она бог знает что подумает...

— Позвольте вам предложить одну услугу, Зинаида Павловна?

— Что такое?

— Если вам будет уж очень тяжело, черкните мне словечка два. Адрес самый простой: пристань, контора правления, такому-то... Хорошо? Я около самой пристани и живу.

Ласковый тон его голоса действовал на Зинаиду Павловну успокоительно; в нем было так много почти родственного участия.

— Нет, в самом деле, я об этом прошу вас серьезно, — настаивал Аларин. — Если нужно будет, я попрошу своих хороших знакомых приютить вас недельки на две... И, боясь, чтобы она не нашла его последние слова обидными, он добавил:

— Они рады будут для меня сделать что-нибудь приятное. Так обещаете?

— Обещаю.

— Ну, вот и отлично, большое вам спасибо за доверие... Дайте мне в залог вашу руку...

— Pardon. Я, кажется, несколько помешал вам? — раздался в дверях насмешливый голос.

Они вздрогнули и, точно пойманные в чем-нибудь дурном, быстро отдернули свои руки: на пороге гостиной, заложив руки в карманы и презрительно щуря глаза, стоял Кашперов.

Бывают иногда такие внезапно обостряющиеся положения, когда люди каким-то внутренним чутьем постигают не только слова или выражение лиц друг друга, но и самые темные, сокровенные мысли... Таким образом и у этих трех людей мгновенно выяснились и определились взаимные отношения. Кашперов по устремленным на него взглядам тотчас же догадался, что речь шла о нем. Он даже знал, что именно говорилось: от него не укрылось ни участливое, растроганное лицо Аларина, ни протянутая рука Зинаиды Павловны.

Аларин, возмущенный всем только что слышанным про этого человека, поднялся ему навстречу с вызывающим взглядом, ища и не находя дерзкого ответа на насмешливо-небрежное извинение.

— Я отыскал вас, Зинаида Павловна, — продолжал Кашперов тем же тоном, — чтобы узнать, когда вам будет угодно ехать домой. Я уже отвез Лизу; у нее болела голова.

— Напрасно вы мне не сказали этого раньше, я тоже поехала бы с вами, — сухо ответила Зинаида Павловна, глядя в сторону.

— Извините, пожалуйста, я не хотел мешать вашей увлекательной беседе с господином Аларьевым, — умышленно переврал Кашперов фамилию Александра Егоровича.

Аларин хотел бросить ему гневное замечание, но самоуверенная, спокойно-дерзкая манера Кашперова совершенно парализовала его обычную смелость и находчивость.

— Потрудитесь отвезти меня, — сказала Зинаида Павловна и пошла из гостиной, сопровождаемая Кашперовым, который предварительно отвесил Аларину насмешливый поклон.

Но у дверей она вдруг остановилась, как будто что-то припомнив, и, быстро повернувшись, подошла к Александру Егоровичу.

— Прощайте, — произнесла она быстрым шепотом. — Пожалуйста, исполните мою просьбу, не играйте сегодня. Это для меня очень, очень важно... — И вдруг, взглянув ему прямо в глаза, с порывом внезапной страсти она прибавила: — Ради бога, родной мой, у меня сердце за вас беспокоит...

Аларин был поражен ее словами. «Что с ней случилось? Неужели это любовь? — подумал он, следя глазами за удаляющейся девушкой. — Вот чего я никак не ожидал!» И, пожав плечами, Александр Егорович медленными шагами направился в карточную комнату.

VI

Едва только успел Кашперов усесться в сани и застегнуть полость, как застоявшийся и промерзший на холоде рысак, которого уже не в силах был сдерживать бородатый кучер, рванулся вперед всей своей могучей грудью, и целая туча искристой морозной пыли в одно мгновение обдала лицо Зинаиды Павловны.

— Гони! — крикнул Кашперов, когда сани выехали на широкую безлюдную улицу. Кучер быстро нагнулся вперед, пустил вожжи, гикнул, и рысак понесся, как бешеный, скидывая широким крупом и покачивая высоко поднятой головой. Это был тот самый знаменитый Барс, который взял два первых приза на московских бегах. Он ни одного движения не тратил даром; со страшной силой выбрасывая вперед сажеными взмахами свои длинные, в белых чулочках,

ноги, жеребец точно расстился по земле и нес, как игрушку, легкие сани. Комья грязного снега далеко летели из-под его копыт, с дробным стуком разбиваясь о передок. Ветер свистал в уши и захватывал дыхание. Пустынные улицы тонули в темноте зимней ночи и казались какими-то совсем незнакомыми, широкими и бесконечными. В этой сумасшедшей езде среди тишины и мрака было что-то и жуткое, и веселое, и таинственное.

— Куда вы везете меня, Сергей Григорьевич?.. Я просила вас отвезти меня домой!

— Теперь это вам уже решительно все равно, — ответил со смехом Кашперов, — мне нужно было украсть у вас несколько минут... Я вас не выпущу.

В тоне его голоса слышалось злое торжество успеха.

— Сергей Григорьевич, — воскликнула Зинаида Павловна, — я, по крайней мере, считала вас до сих пор за честного человека... Если вы что-нибудь позволите себе, я выскочу из саней!

— Нет, не выскочите, — возразил Кашперов и вдруг крепко охватил ее талию. — Не выскочите! Вы — в моей власти! Я давно ждал этой минуты... Я знаю, вы завтра же оставите мой дом, но сегодня вы — моя...

Он говорил неразборчиво, точно пьяный, задыхаясь от страшного волнения.

— Пустите меня, слышите, сейчас же пустите! — крикнула Зинаида Павловна, тщетно стараясь освободиться из железных рук своего спутника. — Это бесчеловечно, пустите меня, говорю вам!.. Я не хочу!..

— Не пу-щу! — резко отчеканил он сквозь стиснутые зубы. — Вы не понимаете, что значит разбудить такого зверя, которого вы заставили проснуться во мне. Нет? О! Я не похож на того сладкого студентика, с которым вы сейчас так нежно ворковали. Если я поклялся, что вы будете моей, то отдам жизнь, пойду на каторгу, уничтожу всякого, кто станет мне на

дороге, а вы все-таки будете моею... Да, моей! Слышите ли: моей любовницей, моей вещью...

И вдруг, сразу переменив этот страстный тон, он заговорил медленно и тяжело, как человек, истомленный долгим страданием:

— Не верьте, Зинаида Павловна, тому, что я сейчас говорил. Это — страсть... Здесь нет ни одного слова, которое бы принадлежало мне! Пожалейте же меня! Ведь вы — женщина, у вас сердце доброе. Отчего же вы надо мной-то не хотите сжалиться? Если бы вы знали, как я люблю вас! Ах, да где же вам понять это! Это — не любовь даже, это — ад, это — такая дьявольская мука, о которой вы, чистая, невинная, даже представления не можете иметь! Так слушайте, я вам все расскажу... Вы пели тогда... Поймите, этот мотив не оставляет меня... точно кто выжиг его огнем в моей памяти... И ночью, и днем, и за работой мне мерещится ваш голос... Если бы вы не избегали меня, если бы хотя даже просто оставались ко мне совершенно равнодушны, ничего и не случилось бы! Но я увидел одно только отвращение. Да, я был противен вам. И началось... И чем больше вы боитесь меня, чем гаже я для вас становлюсь, тем...

Кашперов, говоря эти странные слова, все ближе и ближе привлекал к себе слабое тело Зинаиды Павловны и вдруг, прикоснувшись пылающими губами к ее холодной щеке, совершенно обезумел. Он свободной левой рукой отогнул назад голову Зинаиды Павловны и впился в ее губы страстным, продолжительным поцелуем. Она пробовала сопротивляться, кричать, но мало-помалу воля этого человека совершенно обессилила ее... Ей стало душно... кровь прилила к внезапно закружившейся голове... Пред глазами со страшной быстротой завертелись громадные огненные круги, и ею овладело какое-то полное фантастических грез забытьё, похожее на гипнотическое состояние или на бред морфиниста.

«Что со мной? Где я? — пронеслись в ее голове

обрывки мыслей. — Зачем он держит меня так близко? Ах да! Это — вальс с Алариным. Какие у него чудные глаза... глубокие-глубокие... можно в них глядеть целый день и не добраться до дна... Боже мой... так близко... так жутко... Милый, еще, еще!..»

И она, вздрагивая под жгучими поцелуями Кашперова, покорно опустила ему на грудь свою голову.

— Дорогая моя, деточка милая, — шептал еле слышно Сергей Григорьевич, трясаясь, точно в ознобе, — не отталкивай меня!..

Кашперов взглянул в лицо Зинаиды Павловны; ее глаза были полузакрыты, губы, на которых блуждала томная улыбка, шептали непонятные слова. Одна мысль, точно молния, мелькнула в голове Кашперова.

— Слушайте! — сказал он резким, повелительным тоном, грубо освобождая девушку из своих объятий. — Вы думаете об этом инженере?

Зинаида Павловна мгновенно очнулась и произнесла спокойно и твердо:

— Да, я думала о нем.

— Ступай домой, — крикнул Сергей Григорьевич кучеру, — живо!

Всю дорогу Кашперов и Зинаида Павловна не сказали ни одного слова, и, как только кучер сдержал перед подъездом взмыленного Барса, она поспешно вышла из саней, не воспользовавшись протянутой рукой Сергея Григорьевича. Она быстро бежала по лестнице, торопясь добраться до своей комнаты, но он догнал ее в полутемной гостиной и остановил, крепко схватив за руку. Он был страшен в эту минуту, с глазами, сверкающими бешенством, и с багровыми пятнами на щеках.

— Я вас в последний раз спрашиваю, — проговорил он, с усилием выпуская одно слово за другим, — будете ли вы моей добровольно? Не делайте глупостей... Вы — нищая, вы

еще не знаете цены деньгам, я осыплю вас ими... Я вас повезу за границу, и вы со своим голосом приобретете славу!.. Я отдам вам все... все, что у меня есть... Не доводите меня до крайности... В этой комнате вашего крика ни один дьявол не услышит.

— Вы — подлец! — едва могла произнести Зинаида Павловна, чувствуя уже приближение обморока. — Вы... мне... противны!..

— А-а! Противен?

И с диким воплем, ничего уже не видя, не слыша и не сознавая, Кашперов рванулся к ней, обвинил ее своими могучими руками и вдруг остановился точно вкопанный: в дверях, высоко подняв над головой горящую свечу, стояла Лиза, с ужасом глядя на происходящую перед ней картину.

Кашперов скрипнул зубами и выбежал из гостиной.

— Зиночка, что с вами? — вскрикнула Лиза, подбегая к своей гувернантке.

Но Зинаида Павловна уже ничего не слышала. Все помутилось перед ее глазами, быстро пронеслось в какую-то бездонную пропасть, и она упала, крепко ударившись головой о паркет.

В то самое время, когда происходила эта безобразная сцена, к дому Круковского подъезжал, страшно волнуясь и ежеминутно подгоняя извозчика, Александр Егорович Аларин. Ему все казалось, что лошадь бежит слишком медленно, и он, чтобы обмануть свое нетерпение, изо всех сил старался помогать ей, упираясь руками в облучок. Как только извозчик остановился перед подъездом, Аларин быстро соскочил, сунув ему в руку первую попавшуюся ассигнацию. «Ванька» долго в немом изумлении следил за своим седоком, взбегающим по лестнице, и вдруг, как ошалелый, принялся нахлестывать клячонку.

Как только уехала с вечера Зинаида Павловна, Аларин, несмотря на всю свою выдержку, которой он так хвастался,

проиграл все наличные деньги. Но ему не хотелось отходить от стола; он верил в повороты счастья и продолжал играть уже на запись до тех пор, пока банкомет не заметил с неудовольствием:

— Пришлите, за вами ровно тысяча!

Александр Егорович, краснея, стал просить подождать полчаса. У него не было больше ни копейки своих денег, и он уже мысленно решил заплатить эту тысячу из тех казенных денег, которые лежали в его шкатулке на квартире.

«Займу завтра у жида, пополню», — думал он, упрасывая банкомета об отсрочке.

Аларин, как сумасшедший, прилетел домой, вынул из-под кровати большую несгораемую шкатулку и стал отпирать ее. Но рука дрожала, и ключик никак не хотел попасть в замочную щелочку. Наконец Аларину удалось сделать это; он ошупью отыскал пачку с казенными деньгами и развернул ее. Надо было зажечь огонь, потому что в комнате со спущенными шторами была непроницаемая темнота, а спички, как нарочно, не находились.

«А, не один ли черт!» — решил, рассердясь, Аларин и, сунув всю толстую пачку в боковой карман сюртука, поспешно отправился в дом Круковского.

Александр Егорович вошел в игральную комнату и со странным чувством окинул ее глазами. Столы, исчерченные мелом, запах табачного дыма — все это неприятно поразило его после того, как он успел подышать свежим воздухом.

Вокруг одного из столов сбились в кучу, следя в жадном молчании за руками банкомета, десять или двенадцать игроков с бледными, измятыми лицами, которые казались совсем мертвыми при слабом утреннем освещении.

Метал сам Круковский, невысокий, худой, но крепкий, как сталь, и жилистый мужчина, совершенно неопределенного возраста. Он был плешив, и все его лицо было изборождено глубокими морщинами, но ясные голубые глаза навывкате

глядели смело и твердо. Он мог проводить без сна, в самых страшных попойках и бесчинствах, несколько ночей напролет и ничуть не изменялся в лице: природа отпустила ему громадные силы.

Увидя подошедшего Аларина, Круковский, не прерывая талии, быстро вскинул на него взор и кивнул головой. Он уже по лицу знал, что Александр Егорович привез деньги, и даже больше, — что он будет отыгрываться.

Действительно, Алариным внезапно овладело страстное желание отыграться.

«Не может же быть, чтобы мне теперь не повезло, — соображал он, — счастье идет полосами... Я должен вернуть свое... и баста!»

И ему живо представилось, какое будет счастье, если он избавится от тяжелой необходимости платить казенными деньгами. «Господи, только бы тысячу воротить, больше и играть не буду, — проносилось в его голове. — Ах, какое было бы наслаждение уехать из этого вертепа и лечь спать со спокойной совестью!»

Аларин долго глядел на игру, бледнея и вздрагивая от волнения: он уже знал, что будет играть, но старался продолжить то жгучее ощущение, которое испытывает страстный игрок, имеющий возможность поставить крупный куш и медлящий сделать это.

«Начну с тридцати рублей, — думал Александр Егорович, — конечно, возьму, затем угол и десять мазу, а потом мирандолями и мирандолями... две карты маленьких, две больших...»

Круковский стал тасовать карты для новой талии и искоса кинул взгляд на Аларина.

— Сколько в банке? — спросил Александр Егорович таким внезапно охрипшим голосом, что все игроки обернулись к нему.

Круковский пристально посмотрел ему в глаза и,

переставая тасовать, сказал:

— Послушайте, Аларин, я не советую вам играть.

— Как не советуете? Что вам до меня за дело? — возразил Александр Егорович резким тоном, но невольно опуская взор.

— А то, что есть известная примета: кто отыгрывается или рискует на казенные, — всегда проигрывает.

Он произнес это внушительно и отчетливо, продолжая так же внимательно глядеть в глаза Аларину. Круковский вовсе не хотел, чтобы Александр Егорович отказался от игры, но ему нужно было, чтобы он публично, при свидетелях, признал принесенные деньги своими.

Расчет был совершенно верен, потому что Аларин густо покраснел и сказал с деланной иронией:

— Я думаю, вы не сомневаетесь, что деньги принадлежат мне?

— Спаси господи! — хладнокровно отпарировал Круковский, уже окончательно убедившись, что Аларин взял казенные деньги. — Я просто вижу, что вы хотите отыграться, ну, и сообщаю вам мудрое житейское правило: не за то отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался. А впрочем, как угодно-с... В банке около четырех тысяч.

«Красные — сто, черные — двести», — подумал Александр Егорович и снял с колоды несколько карт. Вышла красная...

И вдруг среди мертвой тишины глухо, но явственно раздался его голос: «Ва-банк!» — и он вытащил из колоды карту, стараясь сам не видеть ее.

— Со входящими? — спросил совершенно хладнокровно Круковский.

— Ва-банк! — озлобленно повторил Аларин. Банкомет перевернул колоду; Александр Егорович посмотрел на свою карту: оказалась дама бубен, и в его уме почему-то быстро мелькнул и скрылся образ Зинаиды Павловны.

Круковский отчетливо выкидывал каждую карту, пристукивая по столу костяшкой среднего пальца, и с каждым ударом сердце Аларина крепко и болезненно билось об грудную клетку, а в виски, точно два громадных молота, ударили попеременно: «бита, дана, бита, дана».

— Бита! — шумно вырвалось у всех зрителей.

— А-а! — медленно протянул Аларин, и им сразу овладело безразличное спокойствие...

VII

Александр Егорович проснулся в два часа дня и долго не мог сообразить: утро теперь или вечер. Он лежал на кровати во всей той одежде, которая была на нем вчера; голова, точно налитая ртутью, страшно болела, глаза, с красными от утомления веками, мигали и слезились от света, во рту ощущался какой-то неприятный вкус... Сердце Аларина тревожно ныло ожиданием большого несчастья, но он никак не мог припомнить, что такое с ним вчера произошло, и усиленно тер перенощицу.

Случайно его взгляд упал на шкатулку: она, как была ночью вытащена из-под кровати, так и лежала, раскрытая, на середине комнаты. Возле валялись лист газетной бумаги и конец английского шпагата, которым были обмотаны деньги.

Аларин в один миг, точно кто толкнул его, с поразительною ясностью припомнил до мельчайших подробностей картину своей последней ставки: грязная комната, совершенно залитая ослепительно-яркими лучами холодного зимнего солнца, десяток желтых лиц, нагнувшихся над столом с хищно сверкающими глазами, проклятая пятерка червей с надломленным углом и спокойный, ненавистный голос, медленно произносящий: «Больше не мечу... Не угодно ли, господа, кому-нибудь занять мое место?» Аларин вспомнил еще, как он тотчас же после этого бессмысленно

рассмеялся и начал хвастливо уверять, что хотя он и проиграл уже одиннадцать тысяч, но что ему «наплевать» и что сильные ощущения даром не даются... Но этот деревянный смех и эти нелепые слова принадлежали не ему, не Аларину, а как будто совершенно чужому, незнакомому человеку; настоящий же Аларин слушал с трепетом самого себя, между тем как истерические спазмы душили его горло. Игроки, толпившиеся вокруг стола, глядели на его судорожную развязность, близкую к умопомешательству, с тем холодным и вполне безучастным любопытством, с которым некогда смотрели римские гладиаторы на смерть своих товарищей.

Потом откуда-то появилось шампанское, кого-то поздравляли и кричали «ура». Каждый из присутствующих с жадностью пил, точно желая забыться от долгого созерцания целых ворохов кредиток, переходивших в одно мгновение из рук в руки.

Пил и Аларин... Он теперь, точно сквозь сон, вспоминал, как с пьяными слезами он лез целовать Круковского и божился, больно ударя себя в грудь кулаком, что проиграл казенные деньги, а Круковский с неожиданно вспыхнувшим взором резко оттолкнул его и сказал: «Ты бы, братец, домой ехал спать, а не болтал пустяков!» Затем все впечатления слились, перед глазами заколыхался какой-то синий туман, и больше он ничего не помнил.

Пока все эти бессвязные сцены проносились перед глазами Аларина, он сидел в оцепенении на своей кровати и, не отрываясь, глядел в угол. Какая-то громадная тяжесть обрушилась на него, завладела всем его существом и сковала ледяным холодом ужаса все его нервы, все умственные способности... Это было состояние, похожее на кошмар, когда человек чувствует, что ему что-то надо сделать, бежать или крикнуть, но язык онемел, ноги не могут шевелиться, а грозящая опасность надвигается все ближе и ближе.

— Что же это такое? — растерянно шептал Аларин,

вперя в какую-то далекую точку свой неподвижный, точно стеклянный взгляд. — Неужели все, все пропало? И честь, и молодость, и свобода!.. Неужели мне, Александру Егоровичу Аларину, такому славному и красивому молодому человеку, на которого всегда с удовольствием заглядывались женщины, — неужели мне теперь всякий писарь, всякий уличный бродяга может сказать в глаза: «Ты — вор! Да, ты — вор, потому что украл казенные деньги»? Да нет же, нет! Это — неправда! Я никогда чужой копейкой не воспользовался; я, когда еще мальчишкой был, куска сахару не брал без спросу... я — не вор! Вор крадет из нужды или из нежелания работать, вор крадет каждый день, и если его выбрасывают из общества, то это так и нужно, потому что иначе никто спокойно не мог бы спать. Разве я похож на вора? На меня только вчера нашло проклятое затмение, но я остался тот же, мне ничто не мешает жить со всеми и приносить свою долю пользы... Не смейте отворачиваться от меня! О господи, помоги же мне, помоги! Устрой так, чтобы все это был сон, ужасный... ужасный сон! Я сейчас проснусь... все окажется по-прежнему... Ну вот, я просыпаюсь...

И, жадно ухватившись за последнюю мысль, он, как безумный, кинулся к шкатулке, вывернул на пол все заключавшиеся в ней бумаги и письма и принялся перерывать их дрожащими руками. Ему на глаза попалась прежде всего довольно толстая, перевязанная розовой атласной лентой пачка, заключавшая в себе целую любовную эпопею в письмах, начиная от официально-любезного приглашения к обеду и кончая теми лаконически страстными записками, поспешно набросанными неочиненным карандашом на первом попавшемся лоскутке, содержание которых не решится прочесть вслух самый испорченный человек. Все эти письма со следами слез и чернильных брызгов, пропитанные тонким запахом духов и написанные безобразнейшим почерком, принадлежали перу одной хорошенькой вдовы,

очень эксцентричной и непостоянной особы, два года до безумия любившей Александра Егоровича, чтобы потом сменить его на капельмейстера гвардейского полка, которого, в свою очередь, заменил красавец бас из архиерейских певчих. Аларин часто, с тайной и сладкой грустью вспоминая прошедшее, любил перечитывать эти послания, но теперь они вдруг показались ему такими ничтожными до пошлости, что, внезапно обозлившись, он с силой швырнул всю пачку под кровать. Он заглядывал в такие уголки шкапулки, где не только не могли уместиться одиннадцать тысяч рублей, но было трудно спрятать простой почтовый конверт. Холодный пот выступил уже давно на его лбу, ноги затекли и сильно болели, а он все стоял на коленях перед шкапулкой, в десятый раз переворачивая высыпаемые вещи. Его действия были похожи на движения утопающего, который судорожно, но тщетно ищет руками какой-нибудь твердой точки.

Дверь тихо скрипнула и отворилась, и из нее показалась голова рассыльного с пристани.

— Чего тебе нужно? — закричал Аларин со злостью в голосе и в ту же минуту покраснел, как уличенный преступник: ему казалось, что рассыльному уже известно все и он понимает, чем занимался Аларин, стоя посреди комнаты на коленях.

— Письмо вашему благородию, — отвечал рассыльный, подавая Александру Егоровичу большой форменный конверт и в недоумении приготавливаясь на всякий случай к быстрой ретираде, — приказано отдать в собственные руки.

Аларин быстро оборвал края конверта. Он уже чувствовал смутно, что в этом письме кроется последний, самый страшный удар.

«Ревизионная комиссия правления просит вас пожаловать в шесть часов пополудни с имеющимися у вас на руках казенными суммами и шнуровыми книгами для

производства гласной поверки».

Аларин читал с трудом, потому что буквы сливались в мутные полосы и строчки прыгали перед его глазами. Он не понял ни одной из этих казенных фраз, не мог даже сообразить, какую связь имеют они с происшествиями вчерашнего дня, но из глубины его души какой-то внутренний голос внятно и уверенно произнес «баста», и письмо вывалилось из рук.

Рассыльный сначала хотел было спросить, можно ли ему идти, но, увидев, что впечатление произведено письмом довольно сильное, счел более благоразумным и уместным удалиться после этого опроса.

Аларин не мог стоять, потому что его ноги дрожали и подгибались; он через силу доплелся до кровати и лег. Он знал, что ему надо немедленно собрать разбегающиеся мысли, уяснить, обдумать свое положение и предпринять что-нибудь. Но рассудок совсем не повиновался; в голове царил невообразимый хаос; все, что думалось, было чрезвычайно незначительно и совершенно не относилось к делу. Аларин лежал, повернувшись лицом к стене, и машинально обводил пальцем узор, нарисованный на обоях, а перед его глазами, как это бывает после долгой игры, одна за другою ярко обрисовывались различные карты: короли грозно хмурили брови, дамы с изумленными лицами протягивали желтые цветки... Аларин даже позабыл о своем тяжелом положении, ему начало казаться, что это безразличное состояние покоя и полудремоты, лишенное всяких мыслей, продолжится навсегда. Но вскоре холод, наполнявший комнату, отрезвил его, и он мало-помалу возвратился к действительности. Мысли опять стали вертеться около необходимости принять какое-нибудь решение.

«Взять займы? Да ведь ни один дурак не поверит; ведь это не десять рублей, а одиннадцать тысяч! Всякий в глаза насмеется, да еще за сумасшедшего сочтет. Украсть?»

Ограбить кого-нибудь? Он, пожалуй, и таким средством не побрезговал бы, но как же это делается?

Надо идти куда-то, подслушивать, подсматривать, подстергать, но куда же идти?» — Нет, нет, все равно, надо бежать, разыскивать, хотя, может быть, и ничего не выйдет! — воскликнул Аларин, вдруг охватив мысленно всю безвыходность своего положения, и поспешно начал одеваться, не попадая в рукава пальто и страшно злясь на это.

VIII

Когда Александр Егорович вышел из дома, короткий зимний день уже потухал и на улице кое-где зажигали фонари.

Первая мысль, за которую уцепился Аларин, было пойти к Гойдбергу, известному во всем городе ростовщику, снабжавшему его деньгами в некоторые критические моменты жизни. Хотя Гойдберг и брал невозможные проценты, а Аларин был весьма неаккуратен, но и кредитор и должник никогда не имели основания жаловаться друг на друга: первый во всякое время дня и ночи готов был предложить свои услуги, а второй беспрекословно соглашался на самые трудновыполнимые условия. Александр Егорович напрасно старался отыскать в карманах какой-нибудь завалившийся двугривенный. Ему пришлось идти пешком на самый конец города, и когда он подходил к невзрачной хатенке, в которой обитал Гойдберг, то насилу держался на ногах от усталости. Прежде чем войти, он заглянул в окно. Самуил Исаакович Гойдберг, красивый, типичный еврей с умными чертами матового лица, сидел, нагнувшись над письменным столом, и внимательно заносил в какую-то очень толстую книгу длинные столбцы цифр.

Аларин на мгновение закрыл глаза, им овладела внезапная слабость духа, сердце перестало биться. Но это

продолжалось очень короткое время. «Э! Не все ли равно, — подумал он, с отчаянием махнув рукой, — хуже не будет!» — и стукнул два раза в стекло. Гойдберг вздрогнул и устремил беспокойный взгляд по направлению окошка, заслоняясь рукой от света. Он долго смотрел таким образом, стараясь проникнуть в темноту ночи, и только когда Аларин повторил стук, нерешительно поднялся с места и пошел отворять дверь.

Александр Егорович вошел в комнату, стараясь казаться спокойным и самоуверенным, но от опытного взгляда ростовщика не укрылись ни бледность его лица, ни нервное движение нижней челюсти, ни тревожно бегающие по сторонам глаза. Умный еврей тотчас же понял, что этого всегда беззаботного, веселого красавца скрутили самые затруднительные обстоятельства...

Они уселись к столу и несколько минут в молчании не отрывали взоров друг от друга.

Гойдберг в своей специальности был тонким психологом и довел до виртуозности искусство незаметным, но подавляющим образом влиять на нуждающегося человека. Он никогда не начинал первый щекотливого разговора о деньгах, наблюдая лишь, как его клиент мнетя, конфузится, еле нанизывает одно на другое слова и междометия и, наконец, радостно соглашается на все предложения, чтобы только покончить с этим тяжелым состоянием неловкости.

— Видите ли, почтеннейший Самуил Исаакович, — робко начал Аларин, не выдержавший пристального взгляда и уже окончательно смущенный этим, — мне нужно... видите ли... не можете ли вы одолжить мне некоторую... небольшую сумму денег?..

Ростовщик уже по одному тону, которым было сказано «небольшую», догадался, что Аларину нужна громадная сумма, но лицо его не выдало этого ни одним мускулом.

— Ну, зачем же не одолжить? — ответил он подобострастно. — Я вам с удовольствием могу дать сколько

угодно!.. Вы такой аккуратный и никогда не торгуетесь. Дай бог, чтобы со всеми было так приятно вести дела, как с вами. Сколько же вам надо?

И он, вопросительно глядя на Аларина, уже отпирал письменный стол, как будто приготовляясь достать вексельную бумагу...

Алариным опять овладел припадок трусости; ему почему-то показалось невозможным назвать целиком такую большую сумму, как одиннадцать тысяч рублей.

— Мне... мне... девять тысяч, — солгал он, потупясь и одновременно с этим поняв, как нелепа была мысль обратиться к Гойдбергу.

— Гм... девять тысяч рублей? — протянул еврей, который сам не ожидал ничего подобного. — Да у меня никогда и денег-то таких в руках не бывало! — прибавил он, быстро захлопывая ящик и запирая его на ключ. — Нет, это невозможно, поищите где-нибудь в другом месте.

После такого категорического отказа Аларину сразу стало легче, и он почувствовал себя развязнее.

— Слушайте, Гойдберг, вы должны дать мне... понимаете — должны. Иначе... черт знает, что будет иначе... Я вам подпишу доверенность на все свое жалованье.

Тонкая усмешка появилась на губах еврея.

— Ну, зачем же вам надо столько тысяч? Аларин растерялся... Он тщетно старался солгать, сочинить какую-нибудь историю; как нарочно, ни одна правдоподобная мысль не лезла в голову.

— Ах, черт побери! — воскликнул он грубо, — да не все ли тебе равно, дьявол! Давай или не давай, это твое дело, а не смей расспрашивать...

— Пхе! Господин инженер думает, верно, что я — совсем дурак! Я вам говорю, поищите в другом месте, где деньги на полу валяются...

Нервы Аларина не выдержали. Кровь со страшной

силой прилила к голове.

«А что, если я схвачу его за горло, — быстрее молнии пронеслось в его голове, — ни одна душа не услышит!»

И вдруг, с помутившимися глазами, ничего не чувствуя, кроме ужасного озлобления, он кинулся на Гойдберга и в один миг обвил своими гибкими пальцами его шею.

— Пойдите, пойдите, — захрипел побледневший еврей, — отпустите меня, господин инженер! Я вам дам деньги... я сейчас дам!

Аларин отнял руки, с необыкновенной быстротой перейдя от безумного отчаяния к еще более безумной радости.

— Ну, давай, голубчик, давай! Неси скорее... Ах, боже мой!.. Чего же ты меня раньше-то мучил? — бессмысленно твердил он, еле переводя дух.

Гойдберг подошел к двери, ведущей в другую комнату, и спрятался за нее так, что виднелась только одна его голова.

— Вы с ума сошли! — закричал он визгливым голосом. — Разве я осел, чтобы бросать деньги? Разве я не знаю, что вы вчера проигрались? А если вы будете орать, как пьяница, я позову полицию. Убирайтесь вон из моего дома!

Аларин вскочил со своего места, но дверь моментально захлопнулась, и когда он схватился за ручку, то услышал, как в замке зазвенел ключ.

IX

Едва держась на ногах и шатаясь, точно расслабленный, вышел Александр Егорович на улицу. Было почти совершенно темно. Холодный ветер дул ему в лицо, а он, не разбирая дороги, шел бессознательно вперед в расстегнутом пальто и криво надетой шапке, из-под которой выбивались пряди мокрых волос. Его губы бормотали бессвязные слова, и встречавшиеся с ним прохожие невольно

останавливались, провожая его взорами.

Аларин дошел до бульвара и только тогда почувствовал страшную физическую усталость. Идти далее было некуда, да и зачем? Везде та же холодная, пустая темнота. Он уселся на полузанесенную снегом скамью и замер; нелепые фантастические мысли беспорядочно теснились в его мозгу.

«Как зябнут ноги!.. И спать хочется. Никуда бы отсюда не пошел; так бы и остался здесь навсегда... Говорят, приятно замерзнуть!.. Ах, если бы и мне!.. Вот так сидел бы, сидел бы, потом заснул бы и ничего уже, совсем ничего не чувствовал бы... А завтра подойдет ко мне городской; сначала он все только сбоку будет посматривать, а потом тронет за плечо и... отскочит. Интересно, пожалеют ли «они», когда об этом услышат!»

Аларин не сознавал ясно, кто это «они», которые услышат об его смерти, но в его воображении нарисовалась яркая картина. Он лежит в белом глазетовом гробу, и не в церкви и не у себя дома, а в той зале правления, где обыкновенно собирались всякие комиссии. Его красивое лицо бледно и торжественно-спокойно... Кругом громадная толпа... У всех на лицах жалость, всякий как будто хочет сказать: «Вот мы не понимали его страданий, не хотели подать ему руку помощи... а теперь уже поздно... теперь он больше ни в чем не нуждается».

«Нет, зачем же умирать?.. — подумал дальше Аларин. — Лучше достать деньги... это ведь так просто... может быть, я найду на улице; другие находят же!»

Ему казалось, что он входит в ярко освещенную залу, ощущая около груди присутствие толстой пачки... За длинным столом, накрытым зеленым сукном, сидят знакомые члены правления... Все лица со злыми улыбками поворачиваются к нему... все уверенно ждут, как он упадет на колени и, рыдая, начнет молить о пощаде и оправдываться. Неуловимая тень презрения мелькает в его глазах, но губы не

произносят ни одного звука. Он скрещивает руки на груди и молча слушает обвинение. Когда же один из присутствующих, ободренный его молчаливой неподвижностью, решается вставить пошлое, оскорбительное замечание, под общий смех, Аларин не выдерживает больше: крупными шагами подходит он к столу, его глаза сверкают восхитительным бешенством... Недоконченный смех мгновенно стихает, всем становится жутко... неловкий остряк робко прячется за спины своих товарищей... Александр Егорович отвечает на оскорбление громовым словом, швыряет на стол пачку денег и с гордостью навсегда отказывается от этого развратного, безобразного общества... Впечатление громадно. Все, кто только есть в зале, кидаются к нему, жмут ему руки, извиняются, просят не покидать их, уверяют в дружбе... На глазах у многих видны искренние слезы... но он, хотя и растроган общим участием, почти выбегает из комнаты.

Погрузившийся в свои грезы Аларин не слышал, что кто-то уже три раза назвал его по имени, и только когда к его плечу тихо прикоснулась чья-то рука, он весь задрожал от неожиданности и вскочил со скамейки. Перед ним стояла Зинаида Павловна. На ее лице, освещенном тусклым светом уличного фонаря, были видны тревога и нежность.

Болезненно-приятные картины мгновенно потускнели, и из-за них выглянула грозная действительность. Это раздражило Аларина.

— Что вам надо от меня? — слезливо закричал он. — Оставьте меня в покое!

После вчерашней бурной сцены с Кашперовым Зинаида Павловна окончательно решила ехать домой. Она уложила все свои вещи, но Лиза упростила ее остаться еще на один день. С самого утра Зинаида Павловна чувствовала себя плохо: тоскливое предчувствие беды сжимало ее сердце. К вечеру это угнетенное состояние так усилилось, что она, не сказав никому ни слова, тихонько оделась и вышла из дома, думая,

что свежий воздух хоть немного ободрит ее. Ей пришлось пересекать бульвар. На скамейке около будки, где летом продавали сельтерскую воду, сидел какой-то человек, который уперся локтями в колени и опустил на ладони лицо. Зинаида Павловна, не отдавая себе отчета в своем поступке, движимая каким-то неясным внутренним побуждением, быстро и решительно подошла к этому человеку. Это был Аларин. Она сильно удивилась его раздражительному окрику, но не испугалась. Увидев его расстроенное лицо, услышав страдание в его голосе, она поняла, что Александра Егоровича постигло какое-то страшное несчастье.

— Зачем вы гоните меня? — спросила она с трогательной грустью. — Я знаю, что вам именно теперь нужно участие.

Она села рядом, почти прижавшись к Аларину, и осторожно положила руку на его плечо. Но ее задушевный тон, ее заботливое лицо совсем взорвали Аларина, и он грубо отодвинулся от нее.

— Ах, не надо мне вашего участия, не нуждаюсь я в нем! — почти крикнул он. — Не шубу же мне шить из вашего участия. Оставьте меня!..

— Александр Егорович, что с вами, скажите, ради бога? Ведь не из любопытства же я спрашиваю... Может быть, я в силах...

Он истерически расхохотался.

— Ха-ха-ха! Боже мой, как все это глупо! Ну, чем же вы поможете мне, если я украл казенные деньги? А? Чем, я вас спрашиваю? Или, может быть, вы пойдете и заявите в полицию, что деньги взяли вы, а не я? Так и то вам никто не поверит...

— Александр Егорович!

— О, черт побери! Да наконец это неделикатно. Наблюдаете вы за мной, что ли? Иначе я не могу объяснить, очень ли вы наивны или уж вовсе глупы до святости.

— Александр Егорович, неужели вы... украли?

Зинаида Павловна не обиделась на его брань; ее гораздо больше мучила мысль, что он, ее бог, ее идеал, мог быть вором.

— Да вы, кажется, хотите, черт вас возьми, испытывать мое терпение?! — крикнул Аларин. — Что вам до меня? Ну да, украд... проиграл одиннадцать тысяч рублей. Ну, довольны вы? Если вам так нравится языком разводы разводиться, то выбирайте хоть другое время, а меня, пожалуйста, увольте!

Зинаида Павловна медленно поднялась со скамейки, в ее глазах показались слезы. Но Аларин уже не мог остановиться. Он только что вошел во вкус того неизъяснимого наслаждения, которое доставляется возможностью излить всю накопившуюся злобу на какое-нибудь беззащитное существо.

— И вы суетесь с помощью! Да если бы вы даже вздумали продать себя, понимаете, продать себя, то ведь никакой идиот не дал бы вам и двадцатой части того, что я проиграл в одну ставку... Что? Поняли? В другой раз, я думаю, уж не станете великодушничать...

И, неожиданно сорвавшись со своего места, он пошел по бульвару торопливыми шагами.

Зинаида Павловна глядела в ту сторону, куда ушел Аларин, до тех пор, пока в морозном воздухе совершенно не стихли его шаги.

«Куда же он пойдет теперь? — подумала она с ужасом. — Что он станет делать?» И вдруг, точно отвечая на ее вопрос, в уме пронеслась вчерашняя самоуверенная фраза Аларина: «Некоторые предпочитают в этих случаях спастись бегством, другие пускают себе в лоб пулю».

«Спастись бегством? — мелькнуло у нее. — Но ведь он не побежит... он такой гордый, самолюбивый... Он не сможет и не сумеет сделать сознательно ничего бесчестного;

он не унижится до того, чтобы выпутаться при помощи унижения или подлости... Значит... значит, остается второе!»

И, вся охваченная внезапным, потрясающим страхом за жизнь дорогого человека, уже позабыв те грубые оскорбления, которые он ей наносил за минуту перед тем, Зинаида Павловна почти побежала в ту сторону, где еще слышались смутно удаляющиеся шаги Аларина, но тотчас же остановилась.

«Зачем? — безнадежно мелькнуло в ее голове. — Чем я могу утешить его? Он опять так же злобно засмеется... Господи, какую страшную муку должен он испытывать! Но чем же я могу помочь ему? Если мне даже и удастся собрать какую-нибудь тысячу рублей... то ведь это будет каплей в море!.. Господи! Научи меня, просвети мой разум! Он для меня дороже всего в мире, и я ничем не в состоянии удержать его... «Пулю в лоб...» Он сам рассмеялся, когда я спросила, не могу ли помочь... О, какой это был ужасный хохот!.. «Если вы даже продадите себя...» Он не понял и не хотел поверить тому, что я с наслаждением отдала бы жизнь за него, вот сию секунду отдала бы... А что, если и в самом деле не жизнь... а... Тот ужасный человек вчера... Нет, нет, это мерзко! Этот так гадко, что Аларин сам от меня с отвращением отвернется, если узнает... Разве можно отдаваться человеку, которого... да, которого ненавидишь? О нет! Это — гадость, об этом даже думать противно!..»

И Зинаида Павловна почувствовала, что ее всю охватила дрожь отвращения. Но тотчас же в ней снова заработала мысль.

«Ну так что же? Противно, и я уж испугалась... А это — самый верный путь... Лиза говорила, что Сергей Григорьевич получил утром из банка много денег... Он не задумается; он вчера говорил, что отдаст все, и, конечно, нынче от своих слов не откажется... Значит, можно еще спасти Аларина... Страшно? Но ведь я собиралась даже жизнь

отдать? Жизнь отдать так легко, это даже приятно и красиво — умереть за любимого человека. Да, кроме того, кто же потребует от меня моей жизни? Значит, я хвасталась? А здесь... отдать свою честь на поругание, навеки потерять уважение любимого человека, но спасти его, — спасти от ужасной смерти, которая позором ляжет на его имя... Можно ли сделать больше? А чем тяжелее жертва, чем меньше в ней блеска и шума, тем достойнее она будет... Значит, и бесчестья нет никакого... И разве это не все, что может сделать женщина? Значит, это можно... и даже необходимо совершить!..» Когда Зинаида Павловна дошла до последнего вывода, ей сразу стало легко, точно с ее плеч скатилось громадное, тяжелое бремя, которое долго давило ее и от которого не было возможности избавиться... И, с бесповоротно созревшим решением, она быстро пошла по направлению к дому Кашперова.

Х

Сергей Григорьевич, точно раненый лев, метался по своему кабинету. Со вчерашнего вечера он ни на одну секунду не сомкнул глаз, и чудовищные мысли, одна другой нелепее, одна другой фантастичнее, теснились в его пылающей голове. Он то вспоминал с горечью и стыдом свое вчерашнее безумное поведение, мысленно называя себя подлецом, то терзался сожалением, что устроил все так неловко и неумело, «как мальчишка, как школьник». Он осыпал проклятиями ни в чем не повинную, кроткую девушку и тотчас затем готов был молиться на ее чистый, светлый образ, всю ночь с яркостью носившийся пред его духовными очами. У него, умевшего всю свою жизнь подчинять всех своей воле, никогда не колебавшегося и всегда знавшего наперед, что ему надо предпринять в каких бы то ни было случайностях, теперь сбились в одну безобразную кучу понятия о честном и

нечестном, о возможном и невозможном. И над всем этим хаосом господствовало одно тяжелое сознание того, что Зинаида Павловна уезжает из его дома, унося с собою одно только гадливое чувство к нему.

«Ну чем же можно остановить ее? — думал Кашперов, нервно шагая назад и вперед по кабинету и злобно отшвыривая ногой попадавшие по дороге стулья. — Ведь не могу же я запереть ее? Извиниться? Невозможно! — она меня и слушать не станет; она охотнее будет объясняться с бешеным волком, чем со мною. Да и я не сдержусь, я знаю... ведь от одних ее шагов меня уже бросает в лихорадочную дрожь. Разве написать ей?...»

Эта мысль была самой подходящей к теперешнему положению дела, и Кашперов тотчас же принялся за ее исполнение.

Но едва только он обмакнул перо в чернильницу, как дверь кабинета быстро отворилась. Кашперов, недовольно нахмутив брови, обернулся назад, готовясь крикнуть на вошедшего не вовремя лакея, но так и остолбенел с полуоткрытым ртом: перед ним, бледная и взволнованная, с горящими глазами, стояла сама Зинаида Павловна.

Кашперов сразу, инстинктивно догадался, что сейчас произойдет нечто особенное и неожиданное. У него захватило дыхание.

— Что с вами, Зинаида Павловна? — тревожно спросил он, поднимаясь со своего места. — Вы чем-то потрясены?

Она хотела, не медля ни секунды, сказать ему о цели своего прихода, но ее губы шевелились, не издавая ни одного звука...

«Неужели я сама скажу об «этом»? — в немом страхе думала Зинаида Павловна. — Так прямо, глядя ему в глаза... громко? Как это подействует на него? Что он скажет? А вдруг он расхохочется мне в лицо или, может быть, как и вчера, бросится ко мне, красный, с мутными глазами, с пеной у рта?»

Однако отступить было уже поздно, и хотя сознание неизбежности объяснения ужасало Зинаиду Павловну, но она уже знала, что от принятого решения не откажется.

— Да скажите же, ради бога, Зинаида Павловна, что с вами случилось? Не мучьте меня! — продолжал взволнованным голосом спрашивать Сергей Григорьевич, не дождавшись ответа.

Силы совершенно покинули Зинаиду Павловну, она не могла больше стоять и невольно опустилась, почти упала в кресло.

— Вот что, Сергей Григорьевич, — раздался, наконец, ее слабый, совсем больной голос, — вы вчера... предлагали мне одну вещь... Это правда... я не понимала, что значит богатство... а теперь... я согласна... Делайте со мной, что хотите. Только, ради бога, скорей... мне нужны деньги... очень, очень много денег...

Она говорила точно в бреду, все более и более бледнея, и когда кончила, то до крови закусил нижнюю губу и с страшным выражением мольбы и отвращения на лице подняла взор на Кашперова... Их взоры встретились и, точно повинувшись какой-то очаровывающей магнетической силе, в продолжение нескольких секунд не могли разойтись... Сергей Григорьевич был бы гораздо меньше ошеломлен, если бы в этот пасмурный январский вечер над его головою ударил раскат грома... Сидевшая перед ним бледная, как смерть, девушка, которую он считал такой чистой и недосыгаемой, такой чуждой будничной житейской грязи, сама пришла к нему в комнату и предложила себя за деньги. Или, может быть, он страшно ошибался в ней? Может быть, ей уже не чуждо сознание всеисильности денег и она, как и все, пресмыкается перед ними? Неужели она, ничем не запятнанная физически, уже дошла одним своим развратным воображением до падения, до позора?..

Кашперов с напряженной пытливостью впился в глаза

Зины, как будто желая ворваться через них в душу и прочесть там все, — все, до тех темных, мелькающих лишь на мгновение в человеческом мозгу мыслей и ощущений, которые, как подводные гады, шевелятся в самой глубине ее тайников.

«Сколько в ее лице страдания, — быстро пронеслось в его голове, — верно, она тяжелым путем дошла до своего ужасного поступка, путем борьбы, бессонных ночей... Понятно, ей нелегко; ведь она не знает, рассмеюсь ли я над ней или даже обойдусь, как с продажной тварью... Хорошо! Но почему же такое брезгливое выражение? Точно наступила ногой на змею... Господи! Да ведь она и не хочет скрывать своего отвращения ко мне... Нет! Это что-то не так. Точно жертва, ведомая на заклятие, да еще такая жертва, что своего палача всеми силами души презирает и вовсе не боится... А что, если действительно кому-нибудь эта жертва понадобилась, а она по своей святости обрадовалась и...» И Кашперова неожиданно охватило злое чувство. Ему страстно захотелось грубой насмешкой оскорбить Зинаиду Павловну, отомстить и за отвращение, против воли выражавшееся на ее лице, и за острое ощущение стыда и замешательства, которое он испытывал целые сутки.

— Сколько же вам, собственно нужно?

Вопрос был предложен холодным, совершенно безучастным тоном.

Кашперов скорее догадался по движению губ Зинаиды Павловны, чем услышал ее ответ.

— Одиннадцать тысяч? Гм... гм... у вас недурные аппетиты... Интересно, для какой цели они вам понадобились и почему вы выбрали именно эту маленькую, но определенную сумму? Я должен сказать вам только одно, что вы себя очень дешево оценили; надо было взять дороже...

Кашперов с мучительной ясностью сознавал, сколько грошového мещанства, сколько животного сознания своей

минутной силы слышалось в его тоне. Он сам глубоко страдал от этого тона и в то же время чувствовал необыкновенную жалость к оскорбляемой девушке; но какой-то слепой и беспощадный дух самовольно управлял в нем его поступками.

Зинаида Павловна продолжала молчать и только все крепче и крепче прижимала руки к шибко бьющемуся сердцу.

— Говорите же, для чего вам нужны деньги? — простонал Кашперов.

— Этого я вам никогда не скажу!

Ее слова звучали твердой решительностью. Она охотнее позволила бы изрезать себя на куски, чем присоединить к своему позору дорогое имя.

Но Кашперов все понял и весь задрожал от внезапного прилива жгучей ревности. Губы его закружились злобной улыбкой...

— Хорошо, я исполню ваше желание. — Он быстро подошел к столу, взял с него запечатанную и завернутую в бумагу колоду карт и протянул ее Зинаиде Павловне.

— Здесь немного более, чем вам нужно. Только, пожалуйста, не благодарите...

Но он не успел еще сознательно насладиться торжеством этой грубой мести, как произошло что-то совсем необыкновенное. Зинаида Павловна вдруг вся неестественно перегнулась, порывисто упала с кресла на колени, и в то же мгновение Кашперов ощутил на своей правой руке горячее прикосновение ее губ. Густая краска стыда залила лицо Сергея Григорьевича, — он сразу понял и перечувствовал на себе всю гнусную жестокость, всю неуместность своего озлобленного издевательства и, весь охваченный порывом безграничного раскаяния, повалился на диван лицом, крепко охватив руками голову. Все его могучее тело сначала только тряслось и вздрагивало; потом он не в силах был сдерживаться, и Зинаида Павловна услышала громкие судорожные рыдания, вырвавшиеся из его груди.

— Простите... Простите меня... — задыхаясь и захлебываясь, воскликнул Кашперов, — дорогая моя! Я точно палач, точно убийца... Как я мог?.. Вы... святая... святая... Она ничего не могла понять и растерянно глядела то на него, то на колоду карт. — Я вас обманул! — продолжал сквозь рыдания Кашперов, — обманул так пошло, так бессмысленно... Простите ли вы меня?

Если слезы всегда способны вызывать сочувствие, то слезы крепкого, сильного мужчины производят положительно потрясающее впечатление. Зинаида Павловна подошла к нему и осторожно провела рукой по его голове... Сергей Григорьевич справился наконец со своими нервами и поднялся с дивана. Его заплаканные и несколько опухшие от слез глаза смотрели на Зинаиду Павловну с такой ласковой грустью, что она невольно почувствовала жалость.

Кашперов выдвинул один из ящичков письменного стола, и несколько времени в кабинете среди гробового молчания слышалось только шуршание бумаги. Он отсчитал из полученных утром денег требуемую сумму, обернул ее в лист белой бумаги и перевязал шнурком.

— Вот, возьмите, здесь ровно одиннадцать тысяч, — сказал он, протягивая пачку Зинаиде Павловне и глядя куда-то в сторону, — идите... идите скорее...

У Зинаиды Павловны кружилась голова и перед глазами ходил какой-то туман. Она машинально взяла деньги и направилась к двери, но Кашперов остановил ее.

— Послушайте! Я, конечно, не смею ни о чем расспрашивать, но, прошу вас, скажите этому человеку: если он не сумеет оценить ваш поступок, значит... Понимаете ли вы, — добавил он с горячим чувством, — это — великий подвиг, самый великий, на который когда-либо решалась женщина.

Зинаида Павловна без слов протянула ему руку, и они оба в первый раз смело и дружелюбно взглянули друг другу в

глаза.

XI

Зинаида Павловна вышла на улицу. Все предшествовавшие обстоятельства так сильно и удручающе повлияли на нее, что она двигалась, точно во сне, крепко прижимая к груди пачку с деньгами. Она совершенно не различала дороги и, наверно, шла бы вперед до изнеможения, если бы ей не попался навстречу извозчик.

— Барышня! Прокатайте на шведочке полтинничек!

Зинаида Павловна только тогда вспомнила, что ей должно быть дорого каждое мгновение; она села в сани и заторопила извозчика:

— На пристань! Только, ради бога, скорее... скорее!.. Вы получите на чай.

«Ванька» принялся усердно нахлестывать свою лошаденку. Тревожно-мучительные думы овладели Зинаидой Павловной и, точно вихрь, закружились в ее голове.

«Господи! Только бы ей не опоздать! А вдруг... она входит, а на кровати лежит Аларин... скорчившийся, с окровавленным лбом. Но, может быть, он из гордости отвергнет ее помощь, и его кровь вечным, несмываемым пятном ляжет ей на душу?.. О нет, нет! Она расскажет ему, как он дорог и близок для нее, она найдет такие слова, против которых нельзя устоять... Имейте веру с горчичное зерно... Господи! Что, если я опоздаю?»

— Да погоняйте же, пожалуйста, — беспрестанно твердила она извозчику, который вместе с клячонкой надрывался из последних сил, удивляясь нетерпению барышни.

Наконец сани остановились перед громадным домом портового управления. Зинаида Павловна быстро выскочила, сунула в руку извозчику рубль и остановилась в раздумье на

тротуаре. Она не знала, куда ей идти.

У ворот, завернувшись в новый дубленый полушубок, точно каменное изваяние, неподвижно сидел дремавший дворник. Зинаида Павловна решила подойти к нему.

— Послушайте, любезный, где здесь квартира инженера Аларина?

Дворник, не приподнимаясь с места, пробормотал что-то непонятное.

— Послушайте! Я вас спрашиваю, где живет Александр Егорович Аларин?

В голосе Зинаиды Павловны слышалось столько настойчивости, столько страстного нетерпения, что дворник удостоил наконец ее более внимательным взглядом; но, по-видимому, впечатление, произведенное этим осмотром, было не из благоприятных, потому что изваяние в тулупе произнесло заржавленным голосом:

— А тебе чего нужно?

Зинаида Павловна, всегда робкая и неумелая в обращении с прислугой, совсем вышла из себя.

— Как вы смеете разговаривать? Это не ваше дело, наконец... Я вас спрашиваю, и вы должны ответить!

Дворник почему-то нашел необходимым оскорбиться до глубины души и вознегодовать.

— Ишь ты, какая строгая, подумаешь! Как это так не мое дело? Вашего брата много к холостым господам бегаёт, а потом, глядишь, пропадет ложка серебряная или часы, кто отвечает? Небось не ты! Тебя и след давно простыл, а меня по шапке! Не мое дело!.. Нет, брат, шалишь, коли я здесь соблюдать приставлен...

Зинаида Павловна быстро вынула из кармана портмоне и высыпала на ладонь все имевшиеся в нем монеты.

— Вот нате вам, возьмите, — сказала она, желая прервать поток его красноречия, — только прошу вас показать квартиру господина Аларина.

— Это другое дело, — произнес, неожиданно смягчаясь, строгий блюститель порядка. — Вы, барышня, ступайте, значит, прямо все и в первый проулочек сверните. Отсчитаете по левой руке седьмой домик, там и есть их квартира. Домик эф тот, значит, пароходного машиниста, а они, то есть господин Аларин, у него квартиру снимают. На ихней двери дощечка такая с чином и фамилией прибита, увидите сами...

Зинаида Павловна, дрожа от волнения, быстро пошла по указанному направлению. Она страшно боялась опоздать; ей казалось, что в этом случае на нее одну падет вся ответственность в чудовищном деле, которое она сама боялась назвать настоящим именем. Наконец она достигла указанного дворником невзрачного одноэтажного дома. Вот и дверь... Только есть ли дощечка с фамилией? На дворе такая темнота, что в двух шагах ничего невозможно разобрать.

Она протянула руку, ощупала чугунную дощечку и ручку звонка и сказала себе: «Значит, здесь!»

Медлить было некогда; Зинаида Павловна два раза кряду дернула изо всех сил ручку. За дверью послышалось быстрое шлепанье туфель, и старческий голос, прерываемый удушливым кашлем, спросил:

— Кто там?

— Мне надо немедленно видеть Александра Егоровича Аларина, — нетерпеливо крикнула Зинаида Павловна, — отворите, я не могу стоять на морозе. Послышались стук и визжание отодвигаемого засова, и дверь отворилась... Перед Зинаидой Павловной предстала в ночном белье и туфлях на босую ногу старая, но бодрая и чрезвычайно худая женщина, с горящею свечой в руке. Из-под коричневого платка торчали по плечам две жиденькие зеленовато-серые косички.

— Для чего это вам понадобился в такую пору Александр Егорович? — недружелюбно спросила старуха, искоса подозрительно оглядев с ног до головы вошедшую.

Это любопытство окончательно взорвало Зинаиду Павловну.

— Ах, не все ли вам равно? — крикнула она сердито. — Конечно, если бы не было нужно, так я в такую пору не приехала бы.

Старуха недоверчиво и грустно покачала головой.

— Пожалуйте, — сказала она, тяжело вздыхая и указывая на небольшую, обитую войлоком дверь, — идите прямо, они еще не спят в это время...

Зинаида Павловна, не останавливаясь ни на одну секунду, быстро подошла к двери и еще быстрее отворила ее.

ХII

Аларин, покинув на бульваре оскорбленную им Зинаиду Павловну, шел машинально, без всякой определенной цели, до тех пор, пока не очутился против своей собственной квартиры, и невольно удивился этому. Он ни теперь, ни в более позднее время не мог понять и разобраться в безобразном хаосе мыслей, которые теснились в его голове, когда он шел домой. Растрата казенных денег... суд... арестантский халат... каторга и, наконец, что было ужаснее всего, полнейшая беспомощность.

В глубине души Аларин смутно чувствовал, что какой-то выход есть, что из этого тяжелого положения можно выбраться, но сам боялся отнестись к этому неясному представлению сознательно. Он весь содрогнулся от ужаса, когда наконец понял, в чем заключается выход, как-то сразу обрисовавшийся в его воображении в той странной вещи, которая висела на стенном ковре над его кроватью. Это был револьвер Смита и Вессона, подарок одного гвардейского офицера, хорошего приятеля Александра Егоровича.

Аларин содрогнулся, но тотчас с жадностью уцепился за мысль о самоубийстве.

«Разве это так трудно? — размышлял он, подвигаясь бессознательно вперед, — боль мгновенная, зуб вырвать, пожалуй, больнее, потому что если человек живет, то еще долго чувствует нервное отражение боли. Вот те, которых на войне ранили, говорят, как будто сильный толчок, а потом горячо делается, как если бы облили рану кипятком. Значит, нужно только усилие — надавить на собачку: удар, блеск — и кончено. А потом? Потом ничего, совсем как есть ничего! Ведь приятно после долгой, трудной дороги лечь на кровать и вытянуть ноги... Нет в мире лучшего ощущения! А здесь покой еще глубже, еще блаженнее... Чего же метаться и отчаиваться? Кому меня будет жаль? Без матери, без отца, один... Кому же до меня есть дело? Разве только эта малокровная барышня? Да что она мне? Если бы эта девчонка умерла, я и ухом не повел бы. Мало ли народу каждый день умирает?»

Он вошел в свою комнату, не снимая пальто и фуражки, зажег лампу и тотчас же снял с гвоздя большой, вороненой стали, револьвер. Во всех шести гнездах торчали медные шляпки патронов.

«Писать ли записку? Нужно что-нибудь оригинальное... Ведь завтра все будут читать в газетах... Как это будет неожиданно для всех! Жил между ними человек, ходил, смеялся, разговаривал, принимал участие в их бессмысленном прозябании, — и вдруг стал безмолвной, холодной вещью... А главное, умер, презирая всю эту жестокую, суетную толпу... Что подумает Круковский? Ему, наверно, станет совестно и страшно. Разве и про него упомянуть в записке? Нет, это гадко, это будет ненужной мезью, — пусть он сам считается со своей совестью».

Аларин схватил лист почтовой бумаги и быстро, без помарок, написал предсмертную записку:

«Я, вследствие рокового сцепления обстоятельств, проиграл казенные одиннадцать тысяч рублей. Как это ни

покажется странным, но виновным я себя не признаю. Прощаться не с кем и не для чего. Александр Аларин».

Эта записка была его мстью тому обществу, которое он почему-то обвинял в своем несчастье. Он перечитал ее два раза и с удовольствием нашел свои слова выразительными по их силе и сжатой краткости.

Неугомонное воображение опять принялось рисовать другие картины. Аларин как будто уже видел то впечатление, которое произведет его самоубийство, видел, как знакомые будут толковать об этом, говоря таинственным шепотом и удивляясь громадной воле Александра Егоровича, а он сам, никем не зримый, присутствует среди них, наслаждаясь их разговорами.

Взводимый курок два раза сухо и коротко щелкнул. Аларин кистью левой руки крепко охватил дуло, чтобы оно не дрожало, положил большой палец правой руки на собачку и прикоснулся холодной сталью к правому виску. Это ощущение холода мгновенно передалось всему телу.

«Неужели всегда будет так же холодно? — весь содрогнувшись, подумал Аларин. — Холодно... темно... словно в закрытом погребе... брр... жутко! Не лучше ли в сердце? Говорят, бывали случаи, что выстрел происходил как раз в то время, когда сердце сжималось. Пуля только на волос пролетит, не тронув... жив останешься... Да, в сердце лучше. Или, может быть, взять немного выше? Не такая верная смерть».

И вдруг, поймав себя на этих гаденьких мыслях, Аларин покраснел и обозлился.

«Эх ты, шарлатан, — обругал он себя, — в эту минуту без хвастовства и ломания не обойдешься! Куда тебе стреляться, трусишка? Да ведь ты согласился бы влачить жизнь цепной собаки, только бы жить... О впечатлении заботишься! Нет, брат, коли хочешь умереть, так всоси в себя мысль о ничтожестве, привыкни к тому, что не только

темноты погребя, а ровно ничего не будет, — ничего, ни света, ни темноты, ни времени, ни пустоты даже. Ничего! О, какой ужас!»

Он медленно положил на стол револьвер и, опершись подбородком на ладони, уставился на огонь лампы. Блестящая точка приковала его взгляд. Он не мог отвести от нее неподвижных глаз, между тем как все окружающие предметы темнели, сливались в однообразную серую массу и уходили куда-то далеко.

За стеной слышался пьяный голос машиниста, хозяина домика, в котором квартировал Александр Егорович. Этот честный, но подверженный слабости к обильным возлияниям малый считал своим священным долгом напиваться каждый свободный вечер до состояния полного блаженства и горланить самые чувствительные песни.

Аларин стал прислушиваться.

Ах, распился, разгулялся
Молодой приказчик;
Он склонил свою головку
На хозяйский ящик, —

пел машинист.

Лицо Александра Егоровича искривилось злобой. Он слышал не раз и хорошо знал эту безобразную трактирную песню, в которой описывались приключения молодого приказчика, ограбившего хозяйскую кассу.

Он расчету не сдавал:
Сколько кому на-адо! —

продолжал гнусавить машинист, с пьяной отчетливостью выделявая каждую ноту.

— О, черт побери! — дико прошептал Аларин, глядя на

огонь очарованными, немигающими глазами. — Ведь и я — такой же приказчик. Распился и разгулялся. И мне теперь всякий пьяный машинист плюнет в лицо, а может быть, и песню еще сложит: что вот-де проигрался молодой инженерик... Да разве я теперь инженер? Ведь я — кандидат в арестантские роты. Нет, так нельзя! Неужели у меня не хватит духа? Ведь только одно незначительное усилие, а там уже все равно, что будут петь, что будут говорить... Надо только поймать в себе момент решимости... и баста!

Он опять взял револьвер и приставил его к виску.

— Ну, раз, два...

Он по-прежнему, не отрывая взора от яркой огненной точки, медлил сказать «три», еще сам не знал: действительно ли в нем созрела решимость или он опять только ломал комедию.

В это время сзади его послышался отчаянный, потрясающий крик. Чья-то рука быстро выхватила револьвер, тот с грохотом покатился по полу, и Аларин увидел Зинаиду Павловну, почти в обмороке, бессильно опустившуюся на диван. Прошло несколько минут напряженного молчания.

— Чего вы хотите от меня дожидаться? — закричал наконец вне себя Александр Егорович и ударил по столу кулаком с такой силой, что стоявшая на нем лампа закачалась и задребезжала.

Зинаида Павловна молча положила на стол бумажную пачку, которую до тех пор крепко сжимала в руке.

Аларин с недоумением поглядел сначала на пачку, потом на нее, потом снова на пачку; он еще не понимал, в чем дело, но в его душу вдруг хлынула волна безотчетной восторженной радости.

— Что же это такое? — спросил он сдавленным шепотом, дрожащими руками развязывая шнурок.

И вдруг, уже совсем не владея собою, Александр Егорович разразился захлебывающимся, безумно-радостным

смехом. Перед его глазами мелькали одна за другой и шелестели в руках пестрые радужные сторублевки, красные и серые процентные бумаги с крупными тысячными надписями, серии... Он несколько раз принимался пересчитывать, сбивался, начинал считать снова и совершенно позабыл о присутствии Зинаиды Павловны. Для него в эти блаженные минуты возвращения от смерти и отчаяния к жизни все в мире, кроме лежавших перед ним денег, потеряло стоимость и значение. Его лицо приняло жадное, почти зверское выражение, глаза сверкали, на лбу выступили крупные капли пота. Зинаида Павловна с пытливым вниманием наблюдала за всеми изменениями физиономии Аларина; она с ужасом чувствовала, что в ней, в самой глубине ее души, зарождается и шевелится какое-то смутное чувство презрения к этому необузданному проявлению инстинкта жизни. Ее щепетильная натура восставала против чего-то животного, низменного, так неожиданно проявившегося в человеке, которого она возвела на самую высокую ступень идеала. Она еще не умела разобраться в своих новых ощущениях, не могла оформить их как следует, но в эти две или три минуты разрушалось и гибло ее увлечение, — увлечение, вызванное скорее рассудком и жалостью, чем силой страсти.

Аларин наконец с трудом пересчитал билеты: их было на сто рублей больше, чем нужно, и только тогда у него мелькнула мысль: «Откуда же они взялись?» Он вспомнил о присутствии Зинаиды Павловны, порывисто подошел к ней, желая высказать свою великую радость, но вспомнил сцену на бульваре и весь побагровел.

— Зинаида Павловна, эти деньги... — Александр Егорович хотел было спросить, кому они предназначаются, но этот вопрос показался ему чересчур грубым. — Откуда вы достали их? — добавил он и, уже произнеся эти слова, сообразил, что сделал еще большую бестактность.

Голова Зинаиды Павловны горела, руки были холодны,

как лед. Нервы положительно отказывались слушаться, и ее ответ, против воли, вышел сух, почти презрителен:

— Возьмите их себе. И прошу вас об одном — никогда о них не упоминайте!

Но Аларин, обыкновенно чуткий ко всякому оттенку в тоне и всегда умевший за словами улавливать истинное настроение человека, на этот раз совершенно утратил и эту способность, и ту границу в изъятии чувства, которая отделяет истинное увлечение от натянутой фальши.

— Как мне благодарить вас? — заговорил он с неправдоподобным жаром, схватив и крепко сжав обе руки Зинаиды Павловны. — Знаете ли вы, что вы для меня сделали? Вы спасли меня от суда, от вечного позора. Значит, я недаром в вас чувствовал с первого же знакомства что-то родственное. Господи! Вы мне жизнь возвратили, жизнь! Поймите, что я снова стану в глазах общества порядочным человеком, а не вором...

Смутное чувство презрения все более и более нарастало в душе Зинаиды Павловны.

Аларин начинал казаться ей чем-то маленьким, жалким и лживым.

«Для чего же он про родственное участие говорит? Лучше бы вспомнил, как гадко смеялся на бульваре...» — мелькнуло у нее.

Она неожиданно вырвала у него свои руки и поднялась с дивана.

— Я вас просила не говорить об этом больше...

Аларин опять не понял ни ее брезгливого жеста, ни сухого тона.

— Ах, нет, нет! Дорогая моя, вы должны выслушать меня, я не могу не говорить. Мне кажется, я готов кричать на весь мир от радости. Если только найдется хоть что-нибудь, чем бы я мог...

Зинаида Павловна не слушала его, занятая новой

мыслью, которая пришла ей в голову.

— Позвольте, я предложу вам один вопрос, — холодно прервала она расходившегося Аларина.

— Говорите, говорите, ради бога!..

Он лицом и всей своей фигурой изобразил неестественное, подобострастное внимание, которое показалось Зинаиде Павловне чрезвычайно гадким.

— Вы, конечно, возвратите эти деньги, — сказала она значительно, — но, я думаю, вы также признаетесь во всем, расскажете о своем проигрыше?

Она ухватилась за этот вопрос, как за последнее средство, чтобы убедить себя в ошибочности нового мучительного впечатления, которое производил на нее Аларин. «Может быть, он только в первое время так гадко обрадовался деньгам и не умел справиться с этим чувством?» — думала она, с нетерпением дожидаясь его ответа. Александр Егорович совсем вытаращил глаза. Он серьезно подумал, что эта девушка начинает сходить с ума.

— Зачем? Деньги я, конечно, возвращу, но ведь никто не знает, что я вчера проиграл казенные деньги. Для чего же мне портить свою репутацию?

— Репутацию? — с горькой иронией переспросила Зинаида Павловна едва слышным голосом и, окинув Аларина с ног до головы презрительным взглядом, повернулась и, шатаясь, пошла к дверям.

— Куда вы, Зинаида Павловна? Что с вами? — заторопился изумленный Аларин. — Позвольте, я вам хоть извозчика отыщу!

— Оставьте меня! — резко оборвала Зинаида Павловна. — Вы такой же, как и все... Вы гадки мне... Оставьте меня!

Аларин так и застыл на месте, прислушиваясь к ее частым, неровным шагам, раздававшимся в коридоре.

ХІІІ

Ни одного извозчика, ни одного прохожего не попадалось на пустынных улицах. Суровый, пронизывающий до костей ветер с бешеной силой обдавал все лицо Зинаиды Павловны колючими ледяными иглами; давно промокшие калоши и ботинки едва держались на ногах, а она в каком-то забытии шла машинально той же дорогой, по которой приехала на квартиру Аларина. Ее голова сильно болела, кровь напряженно билась в висках, руки и ноги отказывались повиноваться, и мысли путались самым фантастическим образом. Она не помнила, как дошла до дому и как позвонила у подъезда. Навстречу ей выбежал сам Кашперов. Он с самого ухода Зинаиды Павловны ходил не переставая по комнатам в тревожном беспокойстве, которое все усиливалось по мере того, как продолжалось ее отсутствие. По телефону он уже узнал подробно о вчерашнем проигрыше инженера и теперь строил разные предположения, беспокоясь за ее слабость и неопытность, терзался ревностью, воображая себе картину ее свидания с Алариним, и уже собирался идти разыскивать ее, как вдруг в передней послышался слабый звонок. Сергей Григорьевич, не успев даже надеть шляпу, сбежал с лестницы и как раз вовремя выскочил на крыльцо. Едва только он отворил дверь, как Зинаида Павловна, бледная, дрожащая, в горячечном ознобе, со стоном упала ему на грудь. Он, как перышко, поднял ее на руки и один, без помощи сбежавшейся прислуги, понес ее по лестнице. Только в эту ужасную минуту, чувствуя на своей шее прикосновение ее холодной щеки, Кашперов понял, что эта девушка для него дороже собственной жизни, дороже жизни любимой дочери...

Зинаида Павловна лежала в тяжелой неподвижной полудремоте, между тем как ее воображением овладели лихорадочные грезы... Ей все казалось, что где-то далеко-далеко перед ее глазами тянется длинная, ровная

проволока, тянется страшно медленно, с каким-то монотонным жужжанием. Вместе с этим жужжанием что-то томительное и тягучее охватывает все ее тело, все мысли, все ощущения. Это состояние тоски и замирания продолжается очень долго, до тех пор, пока где-то, в том же чудовищном отдалении, не показывается какая-то быстро вертящаяся точка.

Что она представляет собою, Зинаида Павловна не может решить, но ее сердце сжимается зловещим предчувствием. Точка, вертясь все быстрее, приближается и увеличивается. Наконец она превращается в бешеный вихрь, в целый хаотический океан, который вздымается до неба и охватывает целый мир своими грозными валами... Потом наступает одно мгновение жуткого покоя. И вдруг вся эта безыменная громоздящаяся масса обрывается, рушится и с быстротой падающего камня несется на Зинаиду Павловну. Она мечется в предсмертной тоске, обливаясь холодным потом, но внезапно — и это самый страшный момент — вся масса рассеивается и только остается одна тягучая, бесконечная проволока. Эта мучительная фантазия повторялась десятки раз, после чего грезы Зинаиды Павловны принимали более реальный характер. Ей все казалось, что около ее кровати на столике стоит тарелка со свежей замороженной клюквой. Она видела эту красную сочную клюкву с поразительной ясностью, чувствовала даже во рту ее кислый, утоляющий жажду вкус...

И ко всем этим грезам примешивалось постоянно одно и то же доброе, удивительно знакомое лицо, с тревожной заботливостью склонявшееся над ее изголовьем. Зинаида Павловна иногда старалась припомнить, кого она видела с таким лицом, и думала до тех пор, пока опять лихорадочные грезы не начинали играть ее воображением.

Заботливое лицо принадлежало Кашперову. Он, как только уложил Зинаиду Павловну при помощи горничной в

кровать, так и не отходил ни на минуту, не зная, чем помочь больной девушке.

Часа через два прибыл доктор. Это был коротенький, толстый человечек, с уверенно-приятными округлыми манерами, который одним своим видом мог успокоить больного. Он тщательно осмотрел Зинаиду Павловну и покачал головой. Кашперов отвел его в сторону и произнес каким-то деревянным, беззвучно-спокойным голосом:

— Доктор, скажите, будет она жива?

Доктор пытливо поглядел ему в лицо. Он своим опытным ухом слышал, что этот вопрос — вопрос жизни и смерти для самого Кашперова, и нерешительно молчал.

— Скажите правду, — настаивал Сергей Григорьевич тем же странным голосом, — я должен предупредить вас, что не переживу ее, понимаете?

— Зачем же отчаиваться? — попробовал успокоить его доктор. — Даже и в самом худшем случае не надо терять голову...

— Я вас не об этом спрашиваю! — резко крикнул вдруг Кашперов, сверкнув глазами. — Будет ли она жива, черт побери?

Доктор и обиделся этим криком, и немного испугался.

— Я могу определить болезнь, могу принять кое-какие меры, — ответил он недружелюбно и сухо, — но предрекать не берусь... особенно в такой болезни, как нервная горячка. Имею честь кланяться.

XIV

На одной из северных железных дорог в вагоне третьего класса ехал Аларин. Но это не был тот прежний веселый красавец с открытым лицом и заразительным смехом: щеки Александра Егоровича ввалились и пожелтели от забот и бессонных ночей, в волосах серебрились седые волосы. Он,

как пришел в вагон, так и забился в самый дальний угол, почти не отвечая на вопросы своего соседа, словоохотливого толстого священника в зеленой рясе... Батюшка наконец уgomонился и, почувствовав «склонение ко сну», предложил Аларину газету, которую он до сих пор, не читая, держал в руках; Александр Егорович машинально взял и, скользнув глазами по рубрике: «Нам пишут из провинции», внезапно выронил газету, издав слабый крик удивления, смешанного с ужасом. Он прочел в корреспонденции из того проклятого города:

«На днях у нас разыгралась тяжелая драма: местный богатый заводчик К. лишил себя жизни, приняв сильный раствор синильной кислоты. Смерть была, по-видимому, мгновенна. Причины ее...» Дальше Аларин не читал, — он теперь лучше всех в мире знал об этих причинах.

Лунной ночью

Июльская теплая ночь еще не начинала свежеть, а в воздухе уже чувствовалась близость зари. Мы с Гамовым шли в ногу, тем скорым, эластически широким шагом, который вырабатывается после третьей версты; ни он, ни я, по обыкновению, не говорили ни слова, но я чувствовал, что мой спутник волнуется и хочет заговорить со мною.

Каждую субботу мы встречались с ним на даче у Елены Александровны и вместе оттуда возвращались пешком в Москву. На этих вечерах его присутствие почти не было заметно. Маленький, тщедушный, весь обросший черными волосами, прямыми и жесткими; с короткой, чуточку рыжеватой бородой, начинающейся под самыми глазами; всегда наглухо застегнутый и всегда немного унылый, — он был самым типичным учителем математики из всех, которых я когда-либо встречал. Странно то, что даже на глаза его никто не обращал внимания, и я сам разглядел их в первый раз только в тот вечер, о котором идет речь. А между тем это было удивительные глаза: большие, черные и постоянно грустные, *точно у раненого оленя*; на женском лице они заставили бы забыть об уродливости прочих черт, некрасивость же мужского лица делала их незаметными.

На вечерах у Елены Александровны он сидел на террасе, затканной диким виноградом, в самом дальнем углу. До сих пор, когда я вижу вечером освещаемую лампой зелень с ее мертвенным, жидким цветом, я не могу не вспомнить при этом лица и понурой фигуры Гамова. Мне всегда казалось, что его душа обременена крупным невысказанным горем.

По мере того как приходило время прощаться, я начинал чувствовать на себе его просящий взгляд. Случалось, с шапкой в руках, я заговаривался еще на полчаса, совсем позабыв о Гамове. Он молча стоял рядом, не напоминая ни

одним звуком о своем присутствии, и только когда я уже окончательно собирался уходить, он постоянно одним и тем же, неизменно робким тоном предлагал себя в спутники. До сих пор мне неизвестно: пользовался ли я его особой симпатией, или просто он считал меня физически сильнее моих товарищей.

Пролесок, которым мы до сих пор шли, кончился. Перед нами открылось ровное, без одного кустика, осеребренное луною поле, сливавшееся вдаль с безоблачным куполом неба. Мы свернули с дороги на росистую траву, заглушавшую шум наших шагов, и я стал поневоле чутко прислушиваться и приглядываться к ночи. Где-то, очень далеко, сполохнулась и завозилась в кусте птичка, чирикнув, точно сквозь сон, два раза; по ветру еле-еле донеслось звонкое, тревожное ржание жеребенка. По траве низко стлались седые клочья тумана; они пропадали из глаз и окутывали нас сыростью, когда мы подходили к ним ближе. В воздухе пахло скошенным сеном, медом и росой.

Ночью, в открытом поле, при назойливо ярком свете луны, все чувства приобретают какую-то странную, тонкую восприимчивость. Мне мало-помалу начало сообщаться нервное настроение моего спутника; я попробовал было запеть, но сам испугался того напряженного, фальшивого звука, который издало мое горло.

Я почувствовал на своем лице, сбоку, пристальный взгляд Гамова и повернул к нему голову; он, по-видимому, дожидался этого движения.

— Скажите, пожалуйста, — произнес он своим, по обыкновению, вежливым и немного робким тоном, — вы изволили слышать сегодняшние разговоры? Разговор в этот вечер шел о привидениях, предчувствиях, таинственных дамах в белом и храбрых студентах и офицерах, — один из обыкновенных дачных разговоров.

— Конечно, все это ерунда, — продолжал Гамов, не

ожидая моего ответа, — и говорилось больше для забавы. Но я заметил, что вы не принимали участия в этом разговоре, и потому, смею думать, можете отнестись серьезно к волнующему меня вопросу.

«Эге! — подумал я. — Похоже на то, что готовится излияние чувствительной души».

— Скажите мне... Впрочем, если вам смешно, вы, конечно, можете не отвечать... Боитесь вы чего-нибудь?

Мне показалось, что он сразу побледнел, предлагая этот вопрос, и я тогда же заметил красоту и печальное выражение его глаз, казавшихся еще чернее и еще больше на лице, освещенном луною.

— Я, впрочем, не то спрашиваю. Не бояться нельзя, потому что это все от нервов. Но что для вас страшнее всего? Чего бы вы не могли забыть в продолжение всей вашей жизни?

Я по опыту знал, как взвинчивают воображение такие разговоры, и отвечал с намерением сухо:

— По правде сказать, я больше всего боюсь маленьких зеленых лягушек.

— Простите, я не знал, что вам этот разговор неприятен, — сказал Гамов и понурил покорно голову.

Мне стало тотчас же жалко, что я на его учтивый и серьезный вопрос отвечал шутовством. Я начал вывертываться.

— Помилуйте, отчего же? Все равно молча идти скучно. Только я хотел сказать, что у меня нервы крепкие и своим воображением я владею настолько, что, мне кажется, сумею не поддаться никакому страху.

Когда Гамов опять заговорил ровным, глухим голосом, то я заметил странную особенность его речи. Он часто переводил дух, но забирал очень мало воздуха и как будто бы захлебывался. Поэтому фразы у него выходили короткими, отрывистыми, а конец их был еле слышен. Вероятно, это

происходило от какой-нибудь грудной болезни.

— А я, голубчик, очень многого, почти всего боюсь. Когда я был еще ребенком, меня пугали буками разными, трубочистами, ну, знаете, чем вообще детей пугают. А я был мальчишка очень нервный, восприимчивый. Должно быть, страх-то на всю жизнь во мне и засел. Поверите ли, я дошел до наслаждения страхом, и когда мной овладевает припадок этой подлой робости, я стараюсь еще больше себя расстроить... Возьмите вы, например, самую невинную вещь: лунные ночи. Разве они не ужасны! Холодный свет, не то белый, не то синеватый, именно мертвый... Мертвая, одинокая луна, лишенная жизни и воздуха... мириады серебряных точек... И земля, такая же точка, песчинка, несущаяся в вечный мрак... Ужасно! Все, все мне говорит яснее, что я умру, погибну в одно прекрасное время и что моя смерть необходима для какого-то неумолимо точного мирового закона... Ужасно!..

Он помолчал секунд десять, часто дыша, и потом продолжал:

— Вдвоем еще ничего. А вот когда один идешь, да в таком ровном поле, как теперь, вот тогда напрягаются все чувства. Смотрите, как этот фальшивый свет сгладил все неровности, точно скатерть — поле, и, кажется, конца ему нет... А я иду один и думаю, что нет кругом на целые сотни верст, кроме меня, ни одного живого существа. И откуда ни посмотри, отовсюду меня видно; захоти я спрятаться, так некуда. Но едва я это подумаю, мне уже кажется, что на меня в самом деле смотрят невидимые для меня глаза, смотрят отовсюду, куда я только ни повернусь. И спереди, и с боков, и сзади... Всего страшнее, что сзади: так и тянет обернуться. А сердце стучит, так стучит, что и этому «невидимому», наверно, слышно, волосы на голове шевелятся... ужас, точно холод, все тело охватывает...

Последние слова он не произнес, а точно выкрикнул

внезапно зазвеневшим горловым голосом. Нервная дрожь пробежала у меня по спине, но я не остановил Гамова, хотя и чувствовал, что он сейчас разойдется. Мною овладело любопытство.

— Всего же, всего страшнее для меня, — в голосе Гамова послышался оттенок таинственности, — это человек. О! Не тот человек, что преграждает вам дорогу на перекрестке и хватает вас за горло... Это очень просто: ему хочется есть и не хочется работать. Я мужчина и силу сумею отразить силой. Меня, — и голос Гамова вдруг понизился до шепота, — меня пугает то, что в каждом из нас есть одна темная, закрытая для всех наблюдений, ужасная сторона. Я должен начать издалека. Вам не скучно, что я так много говорю?

— Нет, нет, пожалуйста. Мне очень интересно...

— Случалось вам видеть во сне, будто вы сдаете трудный экзамен? Вам задают вопрос, и вы на него никак не можете ответить. Вы усиленно думаете, ломаете голову, но ответ, как нарочно, не идет на ум. Тогда учитель обращается к одному из ваших товарищей, тот отвечает самым правильным и блестящим образом, и вам становится стыдно за ваше незнание. Случалось это с вами?

— Не помню, — отвечал я, еще не понимая, к чему клонит речь Гамова. — Во всяком случае, если я этого самого не видал, то видал подобное. Я понимаю, что вы хотите выразить.

— Понимаете? Ну, и прекрасно. Дальше. Вам, наверно, приходилось когда-нибудь идти по полю и глубоко задуматься. Так задуматься, что, спроси вас, по какой местности вы шли, вы не сумели бы ответить. А между тем вы старательно переступали ямы, обходили грязные места и ни разу не упали. А? Отчего это? И много, много таких явлений... Я из них вывел одну, очень странную теорию...

Он посмотрел на небо, на слабо мерцающие звезды и помолчал.

— Я, видите ли, думаю, что человеку присущи две воли. Одна — сознательная. Этой волей я ежечасно, ежеминутно управляю своими действиями и постоянно сознаю в себе ее присутствие. Ну, одним словом, она есть то, что всякий привык понимать под именем воли. А другая воля — бессознательная; она в некоторых случаях распоряжается человеком совершенно без его ведома, иногда даже против его желания. Человек ее не понимает и не сознает в себе. Во сне на экзамене отвечает ваш товарищ. Но ведь товарища-то на самом деле нет, отвечаете вы же, и вы же удивляетесь тому, что говорите. Видите, какая двойственность? Даже теперь вот, в настоящую секунду: вы идете, переставляете ноги, махаете руками. Но ведь вы о ваших руках и ногах даже и думать позабыли, потому что заняты разговором. Кто же ими двигает, если не эта вторая, бессознательная воля? А гипнолизм, когда один субъект, против желания, подчиняется приказаниям другого? И много, много... Понимаете вы хоть немного мою мысль?

Глядя на меня своими грустными большими глазами, он как будто бы извинялся за этот странный разговор.

— Понимаю отчасти, — отвечал я неопределенно.

— Так вот этой самой таинственной области в человеке я и боюсь, — продолжал Гамов, опять понижая свой голос до шепота. — Раз эта вторая воля есть, есть и физический орган, который наряду со всеми прочими органами подвержен болезням. Только человек ничего об этой воле не знает и болезни своей не чувствует: в этом самое страшное. Лунатики, сумасшедшие, преступники с наследственными влечениями, бесноватые, одержимые противоестественными похотями, эпилептики — все эти несчастные, у которых так дико, так неожиданно, так ужасно проявляются их болезни, все они страдают одним и тем же: расстройством их второй воли. Главное — неожиданно и совершенно непонятно. Я боюсь самого себя, боюсь вас, боюсь всякого... Ну вот,

например, мы с вами идем, а я вдруг останавливаюсь, беру вас за рукав (Гамов действительно дотронулся до моего рукава, отчего по моему телу пробежала какая-то брезгливая дрожь) и ни с того ни с сего, молча, делаю страшную, отвратительнейшую гримасу?.. Разве это не страшно? Особенно ночью, в поле, один на один?

Я с болезненным любопытством поглядел в лицо Гамову. Я почувствовал, что, сделай он в самом деле сейчас гримасу, — я с ужасом, но в ту же секунду повторил бы ее на своем лице. От одной этой мысли мне стало холодно, но, к счастью, гримасы Гамов не сделал.

Мы подходили к тому месту, где дорога разветвлялась на две: одна вела в Москву, а другая — в один из загородных парков. На перекрестке росли две корявые березы.

— Есть у вас папиросы? — спросил Гамов. — У меня все вышли.

Мы остановились на перекрестке, и он стал закуривать. Закуривал он торопливо, и я подумал, что ему пришла в голову еще какая-то мысль. Действительно, затянувшись поспешно несколько раз подряд, он опять заговорил:

— Известен вам тот странный факт, что убийцу влечет к месту преступления? Это, конечно, давно избито и заезжено, но зато еще раз подтверждает мою, вероятно, нелепую теорию. Вы подумайте только: ведь сознательно убийца ни за что не пошел бы. Это и неблагоразумно, и мучительно, и, наконец, совсем не нужно. Однако он идет, идет и идет, и потом ни за что не скажет, почему пришел... Ну, что вы на это скажете?

Я не знал, чем ответить, кроме неопределенного мычания; мне становилось неловко. Когда Гамов снова торопливо затянулся несколько раз подряд, — его лицо, то освещаемое огнем папиросы, с длинными тенями от носа и бровей, то опять тонущее в темноте, показалось мне страшным. К сожалению, я не мог теперь его остановить,

потому что чувствовал себя не в силах сделать это. Предвечерний легкий ветерок тронул листья в верхушке березы, под которой мы стояли, и они затрепетали с тревожным шумом. Гамов с силою швырнул недокуренную папиросу об землю и кинул на меня беспокойный взгляд.

— Да вот, например, что. Вообразите, что вы идете не со мной, а с кем-нибудь другим, при совершенно таких же обстоятельствах и после такого же разговора, какой был у нас с вами. Точно так же, как и сейчас, вы останавливаетесь под этими самыми березами... И вдруг ваш спутник, обыкновенно молчаливый и робкий на вид, начинает вам рассказывать, как он два года тому назад на этом, на вот этом самом месте... — Гамов показал пальцем перед собою; голос его ослабевал и обрывался, — убил женщину... И главное, вы видите, что он не шутит, потому что сообщает такие мелочные, такие тонкие и своеобразные подробности, каких ни один психологический писатель не придумает... Ну, хоть вот так...

Гамов задумался, как будто бы что-то припоминая. Давешний ужас опять прополз у меня по спине своими мохнатыми лапами...

— Я все это очень умно устроил (я говорю от имени этого вашего знакомого). Представьте себе: ни отец, ни мать не знали, что она со мной знакома. О! Даже больше: она меня ненавидела, питала ко мне отвращение, как к гадине, но я все-таки сумел овладеть ее волей и воображением до невероятной степени. Если я в полдень проходил мимо ее окна, она уже непременно выходила перед вечером на Тверской бульвар. Это условный знак у нас был такой (видите, какая мелкая подробность). Покорность такая была оттого, что я случайно проник в ее тайну, очень простую тайну: эта девушка имела ребенка. У меня в руках находились вещественные доказательства, а девушка эта была единственным утешением нежных родителей, да, кроме того, сюда и патрицианская гордость примешивалась. Да, черт!

Много было подробностей. (Заметьте, все это вам говорит ваш предполагаемый знакомый.) И все это я сумел одеть некоторым туманным покровом таинственности... Шантаж, вы хотите сказать? Вот именно, именно шантаж; самое подходящее слово, хотя все это делалось не из-за выгоды материальной, а потому что ваш знакомый девушку любил, как сорок тысяч... и так далее... Таким образом, я ей приказал однажды летом прийти на определенное место; мы взяли извозчика и поехали за город на дачу. Дача-то, конечно, была пустым предлогом: мы там никого не застали. Пришлось возвращаться назад пешком, вот как теперь мы с вами. Даже ночь была такая же лунная, теплая и душистая... Только теперь, — Гамов вынул из кармана часы и посмотрел на них, близко поднося к глазам, — пять минут четвертого, а тогда мы подошли к перекрестку не позже как в половине второго...

Понимаете? Я ее любил! Она была изумительно хороша, изумительно! Что-то в ней было страстное, непокорное и очень сильное: как женщина, она обещала бездну наслаждений. Она была выше меня ростом, гибкая, с высокой талией и маленьким бюстом, точно у классической богини, с сильными маленькими руками. Ее пышная натура особенно сказывалась в волосах. Эти золотые, нежные волосы, местами цвета спелого ореха, просто мешали ей. Они не слушались прически и лезли ей на глаза; у нее была милая, грациозная привычка откидывать их назад быстрым движением головы. Это была необыкновенная женщина!

Вы не испытывали никогда этого захватывающего дух сладострастия, когда сознаешь, что любимая тобой женщина, которая тебя презирает, находится в твоих руках и ты ее можешь взять силой? Верно, не испытывали? А у меня в кармане был американский револьвер Мервинга, и каждый раз, опуская руку в правый карман пальто и ощущая холод металлического дула, я думал, что если здесь выстрелить, то ни одна душа не услышит. И каждый раз мне хотелось

потянуться от какого-то чертовски сладкого предчувствия... Здесь ваш знакомый кстати сообщит вам еще одну деталь: револьвер он взял из того расчета, что от него, во всяком случае, меньше крови...

Боже мой! Какое это наслаждение! Говорить ей о любви, грозить убить ее, вымогать у нее ласки с револьвером у виска! Ах, это — необъяснимое сладострастие... Но знаете... — Гамов вдруг остановился и хрипло, растянуто засмеялся; я не мог пошевелиться, — все это, конечно, к примеру... Знаете, что она сделала, когда я вот на этом самом месте, где мы теперь стоим с вами, приставил к ее виску револьвер и грубо, ну так грубо, как разве может только пьяный солдат, потребовал, чтобы она мне отдалась? Знаете, что она сделала? Она расхохоталась и назвала меня трусом, неспособным даже на такую подлость. И не то что расхохоталась искусственно, а на самом деле, громко, презрительно так... О, как она была великолепна в эту минуту и как я сознавал свою собственную мерзость... Но мне было все равно... Я сказал, что сию секунду выстрелю; она не шевельнулась ни одним мускулом и все продолжала смеяться. Глаза у нее стали большие такие и дерзкие... Я едва надавил собачку... у меня пальцы обессилели и затерпли губы... Мысль работала страшно сильно. Я все испытывал себя: могу или не могу? Мне как будто бы интересно было: сильно нужно нажать, чтобы выстрелить? Я жал потихоньку, а со стороны точно сам за собою наблюдал... И вдруг ее лицо вспыхнуло... По долине грохот какой-то дробный прокатился. Я сначала ничего не понимал... И какая подробность чудовищная мне в память успела врезаться: когда ее лицо осветилось, я еще успел на нем разглядеть улыбку!..

Когда я к ней нагнулся, ее висок и часть лба были в крови. Кровь была лужей и на земле, а на ее поверхности какие-то беловатые жирные струйки... Не знаю, может быть, мне это и показалось. Одна прядь ее золотых волос прилипла к ране. Эта подробность у меня несколько месяцев не

выходила из головы: все хотелось взять и отвести эту прядь остороженько назад... Смерть гадка, страшна и таинственна... Но стоять возле... созерцать, как молодая, красивейшая женщина, за минуту перед тем смеявшаяся, становится холодной вещью!.. И когда я сам, сам, своими руками произвел это таинственное явление!.. Ужасно!!!..

Гамов задыхался. Последние слова он произнес еле слышно, точно в раздумье или в бреду, и закрыл лицо руками. Когда же он отнял руки, то я увидел, что его лицо искажено кривой, измученной улыбкой.

— Ну-с! А знаете, что всего страшнее, мой молодой друг? Всего страшнее то, что я знаю ваши теперешние мысли. Вы думаете, что вся эта история произошла не с вашим выдуманном другом, а с самим Гамовым. А убийцу-то вот и потянуло на самом месте преступления рассказать все первому встречному под видом аллегории, так сказать, заглянуть в пропасть? Ну что, правда? Правда?

Когда он это сказал, я в тот же миг с поразительной ясностью понял ту мысль, которая меня давно уже угнетала и которую я боялся представить себе отчетливее. Наши глаза встретились и не могли оторваться; наши лица сошлись страшно близко. Ужас нечеловеческий — чудовищный ужас сковал мое тело, сжал ледяной рукой мое горло, сдвинул к затылку кожу на моем черепе. Продлись это состояние еще секунды три — произошло бы что-нибудь нелепое. Может быть, я бросился бы бежать и бежал бы до изнеможения, трясясь и падая. Может быть, мы оба с криком кинулись бы друг на друга, как два диких зверя...

Вдали по дороге послышался стук колес. И я и Гамов одновременно вздохнули всей грудью, точно пробудясь от страшного сна, и отвели глаза.

— Ну, я не знал, что вы такой нервный, — заметил было шутливо Гамов, но я не отвечал ему.

Во всю дорогу мы не сказали друг другу ни слова и

разошлись, не подав друг другу руки.

А на востоке уже пылали багряные, желтые и розовые тона. Сизая тяжелая туча одна напоминала об уходящей ночи, но и она кое-где была прорезана тонкими, длинными полосками червонного золота, и края ее играли нежными переливами розового перламутра.

Гамов перестал бывать у Елены Александровны, а я хоть и бывал, но возвращался с ее дачи в Москву другою дорогой.

1893

Дознание

Подпоручик Козловский задумчиво чертил на белой клеенке стола тонкий профиль женского лица со взбитой кверху гривкой и с воротником a la Мария Стюарт. Лежавшее перед ним предписание начальства коротко приказывало ему произвести немедленное дознание о краже пары голенищ и тридцати семи копеек деньгами, произведенной рядовым Мухаметом Байгузиным из запертого сундука, принадлежащего молодому солдату Венедикту Есипаке. Собранные по этому делу свидетели: фельдфебель Остапчук и ефрейтор Пискун, и вместе с ними рядовой Кучербаев, вызванный в качестве переводчика, помещались в хозяйской кухне, откуда их по одному впускал в комнату денщик подпоручика, сохранявший на лице приличное случаю — степенное и даже несколько высокомерное выражение.

Первым вошел фельдфебель Тарас Гаврилович Остапчук и тотчас же дал о себе знать учтивым покашливанием, для чего поднес ко рту фуражку, Тарас Гаврилович — «зуб» по уставной части, непоколебимый авторитет для всего галунного начальства — пользовался в полку весьма широкою известностью. Под его опытным руководством сходили благополучно для роты смотры, парады и всякие инспекторские опросы, между тем как ротный командир проводил дни и ночи в изобретении финансовых мер против тех исполнительных листов, которые то и дело представляли на него в канцелярию полка бесчисленные кредиторы из полковых ростовщиков. Снаружи фельдфебель производил впечатление маленького, сильного крепыша с наклоном к сытой полноте, с квадратным красным лицом, на котором зорко и остро глядели узенькие глазки. Тарас Гаврилович был женат и в лагерное время после вечерней переключки пил чай с молоком и горячей булкой,

сидя в полосатом халате перед своей палаткой. Он любил говорить с вольноопределяющимися своей роты о политике, причем всегда оставался при особом мнении, а несогласного назначал иногда на лишнее дежурство.

— Как... тебя... зовут? — спросил нерешительно Козловский.

Он еще и года не выслужил в полку и всегда запинался, если ему приходилось говорить «ты» такой заслуженной особе, как Тарас Гаврилович, у которого на груди висела большая серебряная медаль «За усердие» и левый рукав был расшит золотыми и серебряными углами.

Опытный фельдфебель очень тонко и верно оценил замешательство молодого офицера и, несколько польщенный им, назвал себя с полной обстоятельностью.

— Расскажите... расскажите... кто там эту кражу совершил? Сапоги там какие-то, что ли? Черт знает что такое!

Черта он прибавил, чтобы хоть немного поддать своему тону уверенности. Фельдфебель выслушал его с видом усиленного внимания, вытянул вперед шею. Показание свое он начал неизбежным «так что».

— Так что, ваш бродь, сижу я и переписываю наряд. Внезапно прибегает ко мне дежурный, этот самый, значит, Пискун, и докладывает: «Так и так, господин фельдфебель, в роте неблагополучно». — «Как так неблагополучно?» — «Точно так, говорит, у молодого солдата сапоги украли и тридцать копеек денег». — «А зачем он, спрашиваю, сундука не заперал?» Потому что, ваш бродь, у них, у каждого, при сундучке замок должен находиться. «Точно так, говорит, он заперал, только у него взломали». — «Кто взломал? Как смели? Этта что за безобразия?» — «Не могу знать, господин фельдфебель». Тогда я пошел к ротному командиру и доложил: так и так, ваше высокоблагородие, и вот что случилось, а только меня в это время в роте не было, потому что я ходил до оружейного мастера.

— Это все, что тебе известно?

— Точно так.

— Ну, а этот солдат, Байгузин, хороший он солдат? Раньше его замечали в чем-нибудь?

Тарас Гаврилович потянул вперед подбородок, как будто бы воротник резал ему шею.

— Точно так, в прошлом году в бегах был три недели. Я полагаю, что эти татары — самая несообразная нация. Потому что они на луну молятся и ничего по-нашему не понимают. Я полагаю, ваш бродь, что их больше, татар то есть, ни в одном государстве не водится...

Тарас Гаврилович любил поговорить с образованным человеком. Козловский слушал молча и кусал ручку пера.

Благодаря недостатку служебного опыта он не мог ни собраться с духом, ни найти надлежащий, твердый тон, чтобы осадить политичного фельдфебеля. Наконец, заикаясь, он спросил, чтобы только что-нибудь сказать, и в то же время чувствуя, что Тарас Гаврилович понимает ненужность его вопроса:

— Ну, и что же теперь будут с Байгузиным делать?

Тарас Гаврилович ответил с самым благосклонным видом:

— Надо полагать, что Байгузина, ваш бродь, будут теперь пороть. Потому, ежели бы он в прошлом году не бегал, ну, тогда дело другого рода, а теперь я так полагаю, что его беспрременно выдерут. Потому как он штрафованный.

Козловский прочел ему дознание и дал для подписи. Тарас Гаврилович бойко и тщательно написал свое звание, имя, отчество и фамилию, потом перечел написанное, подумал и, неожиданно приделав под подписью закорючку, хитро и дружелюбно поглядел на офицера.

Затем вошел ефрейтор Пискун. Он еще не дорос до разбирания степени авторитетности начальства и потому одинаково пучил на всех глаза, стараясь говорить «громко,

смело и притом всегда правду». От этого, уловив в вопросе начальника намек на положительный ответ, он кричал «точно так», а в противном случае — «никак нет».

— Так ты не знаешь, кто украл у молодого солдата Есипаки голенища?

Пискун закричал, что он не может знать.

— А может быть, это Байгузин сделал?

— Точно так, ваше благородие! — закричал Пискун радостным и уверенным голосом.

— Почему же ты так думаешь?

— Не могу знать, ваше благородие.

— Так ты, может быть, и не видал вовсе, как он крал-то?

— Никак нет, не видал. А когда солдаты пошли на ужин, то он все около нар вертелся. Я его спросил: «Чего ты здесь околачиваешься?» А он говорит: «Я хлеб свой ищу».

— Значит, ты самой кражи не видал?

— Не видал, ваше благородие.

— Да, может быть, кто-нибудь еще, кроме Байгузина, там был? Может быть, это вовсе и не он украл?

— Точно так, ваше благородие.

С ефрейтором Козловский чувствовал себя несравненно развязнее и потому, назвав его ослом, дал ему для подписи дознание.

Пискун долго пристраивался, громко сопя и высовывая кончик языка от усердия, и, наконец, вывел с громадным трудом: _ефре Спирйдонъ Пескуноу_.

Теперь Козловский понял, что все дело в конце концов сводилось к одному шаткому показанию дежурного по роте — Пискуна, который видел Байгузина околачивающимся во время ужина в казарме. Что же касается до молодого солдата Есипаки, то его еще раньше отправили в госпиталь, потому что он заболел трахомой.

Наконец денщик впустил обоих татар. Они вошли

робко, с преувеличенною осторожностью ступая сапогами, с которых кусками валилась на пол осенняя грязь, и остановились у самой двери. Козловский приказал им подойти ближе; они сделали еще по три шага, высоко поднимая ноги.

— Фамилии! — обратился к ним офицер.

Кучербаев очень бойко отчеканил свою фамилию, в которую входили и «оглы», и «гирей», и «мирза».

Байгузин молчал и глядел в землю.

— Скажи ему по-татарски, чтобы он назвал свою фамилию, — приказал Козловский переводчику.

Кучербаев повернулся к обвиняемому и что-то проговорил по-татарски ободрительным тоном.

Байгузин поднял глаза, поглядел на переводчика тем немигающим и печальным взглядом, каким смотрит на своего хозяина маленькая обезьянка, и проговорил быстро, хриплым и равнодушным голосом:

— Мухамет Байгузин.

— Точно так, ваше благородие, Мухамет Байгузин, — доложил переводчик.

— Спроси его, *взял* он у Есипаки голенища?

Подпоручик опять убедился в своей неопытности и малодушии, потому что из какого-то стыдливого и деликатного чувства не мог выговорить настоящее слово «украл».

Кучербаев снова повернулся и заговорил, на этот раз вопросительно и как будто бы с оттенком строгости. Байгузин поднял на него глаза и опять промолчал. И на все вопросы он отвечал таким же печальным молчанием.

— Не хочет говорить, — объяснил переводчик.

Офицер встал, прошелся задумчиво взад и вперед по комнате и спросил:

— А по-русски он совсем ничего не понимает?

— Понимает, ваше благородие. Он даже говорить

может. Эй! Харандаш, карали минга²⁸, - обратился он опять к Байгузину и заговорил по-татарски что-то длинное, на что Байгузин отвечал только своим обезьяньим взглядом. — Никак нет, ваше благородие, не хочет.

Наступило молчание; подпоручик еще раз прошелся из угла в угол и вдруг закричал со злостью на переводчика:

— Иди. Ты мне больше не нужен... Ступай, ступай!

Когда Кучербаев ушел, Козловский еще долго ходил из угла в угол вдоль своей единственной комнаты. В трудные минуты жизни он всегда прибегал к этому испытанному средству. И каждый раз, проходя мимо Байгузина, он сбоку, так, чтобы это было незаметно, рассматривал его. Этот защитник отечества был худ и мал, точно двенадцатилетний мальчик. Его детское лицо, коричневое, скуластое и совсем безволосое, смешно и жалко выглядывало из непомерно широкой серой шинели с рукавами по колени, в которой Байгузин болтался, как горошина в стручке. Глаз его не было видно, потому что он их все время держал опущенными.

— Отчего ты не хочешь отвечать? — спросил подпоручик, остановившись перед солдатиком.

Татарин молчал, не поднимая глаз.

— Ну, чего же ты молчишь, братец? Вот про тебя говорят, что ты взял голенища. Так, может быть, это и не ты вовсе? А? Ну, говори же, взял ты или нет? А?

Не дождавшись ответа, Козловский опять принялся ходить. Осенний вечер быстро темнел, и все в комнате принимало скучный и серый оттенок. Углы совсем потонули в темноте, и Козловский с трудом различал понурую, неподвижную фигуру, мимо которой он каждый раз проходил. Подпоручик понимал, что если бы он так продолжал ходить весь вечер и всю ночь, вплоть до утра, то и понурая фигура

продолжала бы так же неподвижно и молчаливо стоять на своем месте. Эта мысль была ему особенно тяжела и неприятна.

Стенные часы с гирьками быстро и глухо пробили одиннадцать часов, потом зашипели и, как будто бы в раздумье, прибавили еще три.

— Козловскому стало очень жаль этого ребенка в большой солдатской шинели. Впрочем, это было почти неуловимое, странное и совсем новое чувство для Козловского, который не умел в нем разобраться. Как будто бы в жалкой пришибленности и беспомощности Байгузина был виноват не кто иной, как сам подпоручик Козловский. В чем заключалась эта вина, он не сумел бы ответить, но ему сделалось бы стыдно, если бы теперь кто-нибудь напомнил ему, что он недурен собой и ловко танцует, что его считают неглупым, что он выписывает толстый журнал и имеет связь с хорошенькой дамой.

Стало так темно, что Козловский уже не различал фигуры татарина. На печке заиграли длинные бледные пятна от восходившего молодого месяца.

— Послушай, Байгузин, — заговорил Козловский искренним, дружелюбным голосом, — бог ведь у нас у всех один. Ну, аллах, что ли, по-вашему? Так ведь надо правду говорить. А? Если не скажешь теперь, все равно потом узнают, и будет еще хуже. А сознаешься — все-таки не так. И я за тебя попрошу. Честное слово, уж я тебе говорю, что просить буду за тебя. Понимаешь, одно слово — аллах.

Опять в комнате сделалось тихо, и только часы стучали с настойчивым и скучным однообразием.

— Ну, Байгузин, я же тебя как человек прошу. Ну, просто, как человек, а не как начальник. Начальник йок. Понимаешь? У тебя отец-то есть? А? Может быть, и иной есть? — прибавил он, вспомнив случайно, что по-татарски мать — инай.

Татарин молчал. Козловский прошелся по комнате, перетянул кверху гирьки часов и затем, подойдя к окну, стал глядеть с тоскливым сердцем в холодную темноту осенней ночи.

И вдруг он вздрогнул, услышав сзади себя хриплый и тонкий голос:

— Инай есть.

Козловский быстро обернулся. Он как раз в это время думал, что и у него есть инай, милая старушка инай, от которой он отделен пространством в полторы тысячи верст. Он вспомнил, что, в сущности, без нее он был совсем одинок в этом крае, где говорят ломаным русским языком и где он всегда чувствовал себя чужим; вспомнил ее теплую, ласковую и нежную заботу; вспомнил, что иногда, увлекаемый шумной, подчас безалаберной жизнью, он позабывал в продолжение месяцев отвечать на ее длинные, обстоятельные и нежные письма, в которых она неизменно поручала его покровительству царицы небесной.

Между подпоручиком и молчаливым татаринцом вдруг возникла тонкая и нежная связь. Козловский решительно подошел к солдату и положил ему обе руки на плечи.

— Ну, послушай, голубчик, говори правду, украл ты или не украл эти голенища?

Байгузин потянул носом и повторил, точно эхо:

— Украл голенища.

— И тридцать семь копеек украл?

— Тридцать семь копеек украл.

Подпоручик вздохнул и опять зашагал по комнате. Теперь он уже сожалел, что начал разговор про «инай» и довел Байгузина до сознания. Раньше, по крайней мере, хоть не было ни одной прямой улики.

«Ну, околачивался он в казарме, и что же из того, что околачивался? И никто бы ничего не мог доказать. А теперь уж по одному чувству долга приходится его сознание

записать. Да полно, долг ли это? А может быть, долг-то мой теперь в том и состоит, чтобы этого сознания не записывать? Ведь проникло же ему в душу какое-то хорошее чувство и даже, вероятнее всего, раскаяние. А его, как рецидивиста, уж непременно, непременно высекут. Разве это поможет? Вот и «инай» у него тоже есть. И кроме того, долг — ведь это «тягучее понятие», как говорит капитан Греббер. Ну, а если его еще раз будут допрашивать? Не могу же я входить с ним в соглашение, учить его обманывать начальство. И для какого черта только я про эту «инай» вспомнил! Ах ты, бедняга, бедняга! Я же тебе своим сочувствием беды наделал».

Козловский приказал татарину отправиться в казармы и прийти завтра ранним утром. До этого времени он надеялся обдумать все дело и остановиться на каком-нибудь мудром решении. Самым лучшим ему все-таки казалось обратиться к кому-нибудь из особенно симпатичных начальников и объяснить все подробности.

Поздно ночью, ложась в постель, он спросил у своего денщика, что, по его мнению, сделают с Байгузиным.

— Беспременно его выдерут, ваше благородие, — ответил денщик убежденным тоном. — Да как же его не драть, когда он у солдата последние голенища тащит? Солдат — человек богу обреченный... Где же это видано, чтобы у своего брата последние голенища воровать? Скаж-жите пожалуйста!..

Стояло ясное и слегка морозное осеннее утро. Трава, земля, крыши домов — все было покрыто тонким белым налетом инея; деревья казались тщательно напудренными.

Широкий казарменный двор, обнесенный со всех четырех сторон длинными деревянными строениями, кишел, точно муравейник, серыми солдатскими фигурами. Сначала казалось, что в этой муравьиной суете не было никакого порядка, но опытный взгляд уже мог заметить, как в четырех концах двора образовались четыре кучки и как постепенно

каждая из них разворачивалась в длинный правильной строй. Последние запоздавшие люди торопливо бежали, дожевывая на ходу кусок хлеба и застегивая ремень с сумками.

Через несколько минут роты одна за другой блеснули и звякнули ружьями и одна за другой вышли к самому центру двора, где стали лицами внутрь, в виде правильного четырехугольника, в середине которого осталась небольшая площадь, шагов около сорока в квадрате.

Небольшая кучка офицеров стояла в стороне, вокруг батальонного командира. Предметом разговора служил рядовой Байгузин, над которым должен был сегодня приводиться в исполнение приговор полкового суда.

Разговором больше всех завладел громадный рыжий офицер в толстой шинели солдатского сукна с бараньим воротником. Эта шинель имела свою историю и была известна в полку под двумя названиями: постового тулупа и бабушкина капота. Впрочем, никто так не называл этой шинели при самом владельце, потому что все побаивались его длинного и грязного языка. Он говорил, как всегда, грубо, с малорусским произношением, с широкими жестами, никогда не подходившими к смыслу разговора, с тем нелепым строением фразы, которое обличает бывшего семинариста.

— Вот у нас в бурсе так действительно драли. Хочешь не хочешь, бывало, а в субботу снимай штаны! Так и говорили: «Правда твоя, миленький, правда, — а ну-ка ложись...» Коли виноват — в наказание, а не виноват — в поощрение.

— Ну, этому сильно, должно быть, достанется, — вставил батальонный командир, — солдаты воровства не прощают.

Рыжий офицер быстро повернулся в сторону батальонного с готовым возражением, но раздумал и замолчал.

К батальонному командиру подбежал сбоку

фельдфебель и вполголоса доложил:

— Ваше высокоблагородие, ведут этого самого татарчонка.

Все обернулись назад. Живой четырехугольник вдруг зашевелился без всякой команды и затих. Офицеры поспешно пошли к ротам, застегивая на ходу перчатки.

Среди наступившей тишины резко слышались тяжелые шаги трех человек. Байгузин шел в середине между двумя конвойными. Он был все в той же непомерной шинели, заплатанной на спине кусками разных оттенков: рукава по-прежнему болтались по колено. Поля нахлобученной шапки опустились спереди на кокарду, а сзади высоко поднялись, что придавало татарину еще более жалкий вид. Странное производил впечатление этот маленький, сгорбленный преступник, когда он остановился между двумя конвойными, посреди четырехсот вооруженных людей.

С тех пор как подпоручик Козловский прочел в приказе о назначении над Байгузиным телесного наказания, им овладели дикие и очень смешанные впечатления. Ему ничего не удалось сделать для Байгузина, потому что начальство на другой же день заторопило его с дознанием. Правда, помня данное татарину слово, он обратился к своему ротному командиру за советом, но потерпел полную неудачу. Ротный командир сначала удивился, потом расхохотался и, наконец, видя возрастающее волнение молодого офицера, заговорил о чем-то постороннем и отвлек его внимание. Теперь Козловский чувствовал себя не то что предателем, но ему казалось, будто он обманом вытянул у Байгузина признание в воровстве. «Ведь это, пожалуй, еще хуже, думал он, — растрогать человека воспоминанием о доме, о матери, да потом сразу и прихлопнуть». Сейчас, слушая рыжего офицера, он особенно сильно ненавидел его неприятную, грязную бороду, его тяжелую, грубую фигуру, замасленные косички его волос, торчавших сзади из-под шапки. Этот

человек, по-видимому, с удовольствием пришел на зрелище, виновником которого Козловский считал все-таки себя.

Батальонный командир вышел на середину батальона и, повернувшись задом к Байгузину, протяжно и резко закричал командные слова:

— Ша-ай! На кра-а...

Козловский вытащил до половины из ножен шашку, вздрогнул, точно от холода, и потом уже все время не переставал дрожать мелкою нервною дрожью. Батальонный скользнул глазами по строю и отрывисто крикнул:

— ...ул!..

Четырехугольник шевельнулся, отчетливо бряцнул два раза ружьями и замер.

— Адъютант, прочтите приговор полкового суда, — произнес батальонный своим твердым, ясным голосом.

Адъютант вышел на середину. Он совсем не умел ездить верхом, но подражал походке кавалерийских офицеров, раскачиваясь на ходу и наклоняясь вперед корпусом при каждом шаге.

Он читал с неправильными ударениями, неразборчиво и растягивая без надобности слова:

— Полковой суд N-ского пехотного полка в составе председателя, подполковника N., и членов такого-то и такого-то...

Байгузин по-прежнему, понурясь, стоял между двумя конвойными и лишь изредка обводил безучастным взглядом ряды солдат. Видно было, что он ни слова не слышал из того, что читалось, да и вряд ли хорошо сознавал, за что его собираются наказывать. Один раз только он шевельнулся, потянул носом и утерся рукавом шинели.

Козловский также не вникал в смысл приговора и вдруг вздрогнул, услышав свою фамилию. Это было в том месте, где говорилось о его дознании. Он сразу испытал такое чувство, как будто бы все мгновенно повернули к нему головы и

тотчас же отвернулись. Его сердце испуганно забилось. Но это ему только показалось, потому что, кроме него, фамилии никто не расслышал, и все одинаково равнодушно слушали, как адъютант однообразно и быстро отбарабанивал приговор. Адъютант кончил на том, что Байгузин приговаривается к наказанию розгами в размере ста ударов.

Батальонный командир скомандовал: «К ноге!» — и сделал знак головою доктору, который боязливо и вопросительно выглядывал из-за рядов. Доктор, молодой и серьезный человек, первый раз в жизни присутствовал при экзекуции. Теряясь и чувствуя себя точно связанным под сотнями уставленных на него глаз, он неловко вышел на середину батальона, бледный, с дрожащею нижнею челюстью. Когда Байгузину приказали раздеться, татарин не сразу понял, и только когда ему повторили еще раз и показали знаками, что надо сделать, он медленно, неумелыми движениями расстегнул шинель и мундир. Доктор, избегая глядеть ему в глаза, с выражением брезгливого ужаса на лице, выслушал сердце и пульс и пожал в недоумении плечами. Он не заметил даже малейших следов обычного в этих случаях волнения. Очевидно было, что или Байгузин не понимал того, что с ним хотят делать, или его темный мозг и крепкие нервы не могли проникнуться ни стыдом, ни трусостью.

Доктор сказал несколько слов на ухо батальонному командиру и быстро, тем же неловким шагом ушел за строй. Откуда-то выскочили человек пять солдат и окружили Байгузина. Один из них, барабанщик, остался в стороне и, подняв кверху правую руку с палкой, глядел выжидательно на батальонного командира.

Татарин стал снимать шинель, но делал это очень медленно, так что выскочившие люди принуждены были помочь ему. Некоторое время он колебался, не зная, что делать с этой шинелью, наконец постлал ее аккуратно на землю и начал раздеваться. Тело у него было черное и до

странного худое. У Козловского мелькнула мысль, что татарину, должно быть, очень холодно, и от этой мысли офицер задрожал еще сильнее.

Татарин стоял неподвижно. Хлопотавшие вокруг него солдаты стали ему показывать, что надо ложиться. Он медленно, неловко опустился на колени, касаясь руками земли, и лег на разостланную шинель. Один солдат, присев на корточки, стал держать его голову, другой сел ему на ноги. Третий, унтер-офицер, стал в стороне, чтобы считать удары, и только в это время Козловский заметил, что на земле у ног остальных двух, которые стали по бокам Байгузина, лежали связки красных гибких прутьев.

Батальонный командир кивнул головою, и барабанщик громко и часто забил дробь. Два солдата, стоявшие по бокам Байгузина, нерешительно глядели друг на друга; ни один из них не хотел нанести первый удар. Унтер-офицер подошел к ним и что-то сказал... Тогда стоявший по правую сторону, стиснув зубы, сделал ожесточенное лицо, взмахнул быстро розгами и так же быстро опустил их, нагнувшись всем телом вперед. Козловский услышал отрывистый свист прутьев, глухой удар и голос унтер-офицера, крикнувшего: «Раз!» Татарин слабо, точно удивленно, вскрикнул. Унтер-офицер скомандовал: «Два!» Стоявший слева солдат так же быстро взмахнул розгами и нагнулся. Татарин опять закричал, на этот раз громче, и в голосе его отозвалось страдание истязуемого молодого тела.

Козловский поглядел на стоявших рядом с ним солдат. Их однообразные серые лица были так же неподвижны и безучастны, как всегда они бывают в строю. Ни сожаления, ни любопытства, — никакой мысли нельзя было прочесть на этих каменных лицах. Подпоручик все время дрожал от холода и волнения; всего мучительнее было для него — не крики Байгузина, не сознание своего участия в наказании, а именно то, что татарин и вины своей, как видно, не понял, и за что его

бьют — не знает толком; он пришел на службу, наслушавшись еще дома про нее всяких ужасов, уже заранее готовый к строгости и несправедливости. Первым его движением после сурового приема, оказанного ему ротой, казармой и начальством, было — бежать к родным белебеевским нивам. Его поймали и засадили в карцер. Потом он взял эти голенища. Из каких побуждений взял, для какой надобности, он не сумел бы рассказать даже самому близкому человеку: отцу или матери. И сам Козловский не так мучился бы, если бы наказывали сознательного, расчетливого вора или даже хоть совсем невинного человека, но только бы способного чувствовать весь позор публичных побоев.

Сто ударов были отсчитаны, барабанщик перестал бить, и вокруг Байгузина опять закопошились те же солдатики. Когда татарин встал и начал неловко застегиваться, его глаза и глаза Козловского встретились, и опять, как и во время дознания, подпоручик почувствовал между собой и солдатом странную духовную связь.

Четырехугольник дрогнул, и его серые стены начали расходиться. Офицеры шли все вместе к казарменным воротам.

— Що ж, — говорил рыжий офицер в капоте, делая руками широкие, несуразные жесты, — разве это называется выдрать? У нас в бурсе, когда драли, так раньше розги в укусе выпаривали... От, дали б мне того татарина, я б ему показал эти голенища! А то не дерут, а щекочут.

У Козловского вдруг что-то зашумело в голове, а перед глазами поплыл красный туман. Он заступил дорогу рыжему офицеру и с дрожью в голосе, чувствуя себя в эту минуту смешным и еще больше раздражаясь от такого сознания, закричал визгливо:

— Вы уже сказали раз эту гадость и... и... не трудитесь повторять!.. Все, что вы говорите, бесчеловечно и гнусно!

Рыжий офицер, глядя сверху вниз на своего

неожиданного врага, пожал плечами.

— Вы, верно, молодой человек, нездоровы? Чего вы ко мне прицепились?

— Чего? — закричал визгливо Козловский. — Чего?.. А того, что вы... что если вы сейчас же не замолчите...

Его уже тянули назад за руки встревоженные неожиданной ссорой офицеры, и он, вдруг закрыв лицо ладонями, разразился громкими рыданиями, сотрясаясь всем телом, точно плачущая женщина, и жестоко, до боли стыдясь своих слез...

На разъезде

В вагон вошел кондуктор, зажег в фонарях свечи и задернул их полотняными занавесками. Сетки с наваленными на них чемоданами, узлами и шляпами, фигуры пассажиров, которые или спали, или равномерно и безучастно вздрагивали, сидя на своих местах, печь, стенки диванов, складки висящих одежд — все это потонуло в длинных тяжелых тенях и как-то странно и громоздко перепуталось.

Шахов нагнуллся вперед, чтобы увидеть лицо своей соседки, и тихо спросил:

— Что? Очень устали, Любовь Ивановна?

Она поняла его желание. Повинуясь бессознательному и тонкому инстинкту кокетства, она отделила тело от спинки дивана и улыбнулась.

— Нет, нет, мне хорошо.

Лежащая против разговаривающих и покрытая серым шотландским пледом фигура грузно перевернулась с боку на спину.

— Не понимаю, Люба, что здесь хорошего? — пробурчал из-под пледа осипший от дороги мужской голос.

Ни Любовь Ивановна, ни Шахов не отвечали, но нежная улыбка, беспричинная и волнующая улыбка первых намеков сближения, мгновенно сбежала с их лиц.

Шахов ехал из Петербурга в Константинополь и затем в Египет. Эта поездка была его давнишней, заветной мечтой, но до сих пор ее исполнению мешали то недостаток времени, то недостаток средств. Теперь, продав небольшое имение, он собрался в дорогу, счастливый и беспечный, с одним легким чемоданом в руках.

И вот уже двое суток, начиная от самого Петербурга, странная прихоть судьбы сделала его неразлучным спутником и собеседником очаровательной женщины, которая с каждым

часом нравилась ему все больше и больше. Что-то непонятное, привлекательное и совсем не похожее на прозу обыденной жизни казалось Шахову в этом быстром и доверчивом знакомстве. Ему нравилось подолгу глядеть на ее тоненькую, изящную фигурку, на ее разбившиеся пепельные волосы, на нежные глаза, окруженные тенью усталости. Ему нравилось сквозь ритмический грохот вагонов слушать ее мягкий голос, когда им обоим благодаря шуму приходилось близко наклоняться друг к другу.

Когда наступали сумерки, непонятное и привлекательное становилось совсем сказочным... Милое лицо начинало то уходить вдаль, то приближаться; каждую минуту оно принимало все новые и новые, но знакомые и прекрасные черты... И под размеренные звуки летящего поезда Шахову все напевались звучные стихи: «Свет ночной, ночные тени... тени без конца... ряд волшебных изменений милого лица».

Иногда он нарочно ронял платок или спичечницу на пол, чтобы украдкой заглянуть ближе в ее лицо, и каждый раз глаза его встречали ее ласково остановившуюся на нем улыбку...

Потом наступала ночь... Не было слышно ничего, кроме грохотания поезда и дыхания спящих. Он уступал ей тогда свое место, но она отказывалась. И они садились рядом друг с другом, совсем близко, и разговаривали до тех пор, пока у нее не падал от усталости голос. Тогда он с дружески шутливой настойчивостью уговаривал ее лечь. О чем они разговаривали — пожалуй, оба на другой день не дали бы себе отчета. Так разговаривают два близких друга после долгой разлуки или брат с сестрою... Один только скажет два слова, чтобы выразить длинную и сложную мысль, а другой уже понял. И первый даже и не трудится продолжать и разжевывать дальше — он уже по одной улыбке видит, что его поняли, — а впереди есть еще столько важного и

интересного, что, кажется, и времени не хватит все передать. Оживленный и радостный разговор скользит, извивается, капризно перебрасывается с предмета на предмет и все-таки не утомляет собеседников.

Шахову приходилось не раз в жизни сталкиваться с женщинами умными и красивыми, красивыми и глупыми, умными и некрасивыми и, наконец, с женщинами и глупыми и некрасивыми. Но никогда еще он не встречал женщины, которая так бы с полуслова понимала его и так бы живо и умно интересовалась всем тем, чем и он интересовался, как Любовь Ивановна, которую он знал всего вторые сутки. Только все, что у него было заносчиво, резко и горячо, — у нее облекалось в какую-то неуловимо милую и нежную доверчивость, соединенную с изящной простотой. И лицом ее, немного бледным и утомленным, он не уставал любоваться во все время дороги.

Шахов с непривычки не умел спать в вагоне. Несколько раз ночью проходил он мимо того дивана, на котором спала Любовь Ивановна. И каждый раз — впрочем, может быть, он и ошибался — ему казалось, что она следит за ним своими ласкающими глазами.

Утром они встречались. Следы сна, которые так неприятно изменяют самые хорошенькие лица, совсем не портили ее лица. К ней все шло — и развившиеся волосы, и расстегнувшаяся пуговица воротника лифа, позволявшая видеть прекрасные очертания шеи, и томный, ослабевший взгляд. В продолжение дня ему нравилось оказывать ей разные мелкие услуги при пересадках и во время обедов и ужинов на станциях. Еще больше ему нравилось то, что она принимала его услуги без ломанья и без приторного избытка благодарностей. Она видела, что такая внимательность с его стороны к ней доставляет ему удовольствие, — и это было ей приятно.

Зато всю прелесть этого быстрого сближения портил

господин Яворский — муж Любви Ивановны. Трудно было придумать более типичную бюрократическую физиономию: выбритый жирный подбородок, окаймленный круглыми баками, желтый цвет лица, снабженного всякими опухольями, складками и обвислостями, стеклянно-неподвижные глаза... Господин Яворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны. И тем у него было только две: петербургские сплетни в сфере чиновничьего мира и собственные ревматизмы и геморрои, которые он ехал теперь купать в одесских лиманах. Болезни служили особенно излюбленным предметом разговора. О них он говорил с видимой любовью, громко, подробно и невыносимо скучно, говорил со всяким желающим и нежелающим слушать, говорил так, как умеют говорить только самые черствые себялюбцы.

С женой он обращался то язвительно-нежно, на «вы», то умышленно деспотично. Она, по летам, годилась ему в дочери, и Шахову казалось, что муж на нее смотрит, как на благоприобретенную собственность. Он заставлял ее покрывать ему ноги пледом, брюзжал на нее с утра до вечера, карикатурно и отвратительно-злобно передразнивал почти каждую из ее робких, обращенных к нему фраз. Встречая в этих случаях взгляд молодого художника, Яворский глядел на него так, как будто бы хотел сказать:

«Да, да, вот и погляди, как у меня жена выдрессирована; и всегда будет так, потому что она моя собственная жена».

— Я вас вторично спрашиваю, Любовь Ивановна: угодно ли вам будет почтить меня своим милостивым ответом? — спросил язвительно Яворский и приподнялся на локте. — Что вы, именно, находите хорошим?

Она отвернулась к окну и молчала.

— Ну-с? — продолжал Яворский, выдержав паузу. — Или вы находите, что другим ваши замечания могут быть интереснее, чем вашему мужу? Что-с?

— Любовь Ивановна сказала мне, что ей удобно сидеть, — вмешался Шахов.

— Хе-хе-хе... очень вам благодарен за разъяснение-с, — обратился Яворский к художнику. — Но мне все-таки желательнее было бы лично выслушать ответ из уст супруги-с.

Любовь Ивановна нетерпеливо и нервно хрустнула сложенными вместе пальцами.

— Я не знаю, Александр Андреевич, почему это вас так заняло, — сказала она сдержанным тоном. — Monsieur Шахов спросил меня, удобно ли мне, и я отвечала, что мне хорошо. Вот и все.

Яворский приподнялся совсем и сел на диван.

— Нет, не все-с. Во-первых, Люба, я просил тебя не называть меня никогда Александром Андреевичем. Это — вульгарно. Так зовут только купчихи своих мужей. Я думаю, тебе не трудно называть меня Сашей или просто Александром. Я думаю, что господину художнику отнюдь не покажется странным то обстоятельство, что жена называет своего мужа уменьшительным именем. Не правда ли, господин художник? А во-вторых, супружество, налагая известные обязанности на мужа и жену, требует с обеих сторон взаимной внимательности. И потому...

И он долго и растянуто говорил от обязанностях хорошей жены. Любовь Ивановна сидела, низко опустив голову. Шахов молчал. Наконец Яворский утомился, прилег и продолжал лежа свои разглагольствования. Потом он совсем замолчал, и вскоре послышалось из-под пледа его всхрапывание.

После долгого молчания Шахов первый начал разговор.

— Любовь Ивановна, — сказал он, соразмеря свой голос так, чтобы он не был за стуком колес слышен, — мы с вами так о многом говорили... Почему же... Я боюсь, впрочем, показаться нескромным и, может быть, даже

назойливым...

Она сразу схватила то, что он хотел сказать.

— О нет, нет, — живо возразила она. — Это ничего, что наше знакомство слишком коротко... Знаете... знаете... — Она запнулась и искала слова. — Хоть это и странно, может быть, да ведь и все у нас с вами как-то странно складывается... Но мне кажется, что я вам все бы, все могла рассказать, что у меня на душе и что со мной было. Так бы прямо, без утайки, как своему... — она остановилась и, сконфузившись своего мгновенного порыва, не договорила слова «брату».

Шахова эта вспышка доверчивости и тронула, и ужасно обрадовала.

— Вот, вот, я об этом и хотел сказать, — торопливым шепотом заговорил он. — Ах, как хорошо, что вы так сразу меня поняли. Расскажите мне о себе побольше... только, чтобы вам самой это не было больно... Ведь как много мы с вами переговорили, а я до сих пор ничего о вашей жизни не знаю... Только не стыдитесь... И завтра не стыдитесь... Может быть, мы и разведемся через четверть часа, и не встретимся никогда больше, но все-таки это будет хорошо.

— Да, да... Это — хорошо... И — правда? — как-то смело... ново... одним словом, хорошо! Да?

— Оригинально?

— Ах, нет. Не то, не то! Оригинально — это в романах, это придуманное... А здесь что-то свежее... Ничего такого больше не повторится, я знаю... И всегда будешь вспоминать. Правда?

— Да. А вам никогда не приходила в голову мысль, что самые щекотливые вещи легче всего поверять...

— Тому, с кем только что встретишься?

— Да, да... Потому что с близким знакомым уже есть свои прежние отношения. Так по ним все и будет мериться... Но мы с вами отклоняемся. Пожалуй, и не дойдем до того, о

чем стали говорить. Рассказывайте же о себе.

— Хорошо... Но я затрудняюсь только начать... И кроме того, я боюсь, чтобы не вышло по-книжному.

— Ничего, ничего. Рассказывайте, как знаете. Ну, начинайте хоть с детства. Где учились? Как учились? Какие были подруги? Какие планы строили? Как шалили?

В это время поезд с оглушительным грохотом промчался по мосту. Мимо окон быстро замелькали белые железные полосы мостового переплета. Когда грохот сменился прежним однообразным шумом, Яворский вдруг сразу перестал храпеть, перевернулся, поправил под головой подушку и что-то произнес. Шахов послышалось не то «черт побери», не то «спать только мешают!». Любовь Ивановна и Шахов замолчали и с возбужденно-нетерпеливым ожиданием глядели на спину Яворского. В этом молчании оба чувствовали что-то неловкое и в то же время сближающее.

— Ну, говорите, говорите, — шепнул наконец Шахов, убедившись, что Яворский опять заснул.

Она рассказывала сначала неуверенно, запинаясь и прибегая к искусственным оборотам. Шахов должен был ей помогать наводящими вопросами. Но постепенно она увлеклась своими воспоминаниями. Она сама не замечала, как ее душа, до сих пор лишенная ласки и внимания, точно комнатный цветок — солнца, радостно распускалась теперь навстречу теплым лучам его участия к ней. Язык у нее был своеобразно-меткий, порой с наивными институтскими оборотами.

Любовь Ивановна не помнила ни отца, ни матери. Троюродной тетке как-то удалось поместить ее в институт. Время учения было для нее единственным светлым временем в жизни. Несчастье ждало ее в последнем классе. Та же тетка, совсем забывшая Любу в институте, однажды взяла ее в отпуск и познакомила с надворным советником Александром Андреевичем Яворским. С тех пор надворный советник

аккуратно каждое воскресенье под именем дяди появлялся в приемной зале института с пирожками от Филиппова и конфетами от Транже. Любовь Ивановна, беспечно смеясь вместе с подругами над дядей, так же беспечно поедала дядины конфеты, не придавая им особенно глубокого смысла.

Бедная институтка, конечно, не могла и подозревать, что Александр Андреевич давно уже взвесил и рассчитал свои на нее виды. В минуту откровенности, сладострастно подмигивая глазком, он уже не раз говорил друзьям о невесте.

«Дураки только, — говорил он, — женятся рано и черт знает на ком. Вот я, например. Женюсь, слава богу, в чинах и при капитальце-с. Да и невеста-то у меня будет прямо из гнездышка... еще тепленькая-с... Из такой что хочешь, то и лепишь. Все равно как воск».

— Да и наивная я уж очень была в то время, — рассказывала Любовь Ивановна. — Когда он был женихом, мне, пожалуй, и нравилось. Букеты... брошки... брильянты... приданое... тонкое белье... Только когда к венцу повезли, я тут все и поняла. Плакала я, упрасивала тетку расстроить брак, руки у нее целовала... не помогло... А Александр Андреевич нашел даже, что слезы ко мне идут. С тех пор я так и живу, как видите, четыре года...

— Детей у вас, конечно, нет? — спросил Шахов.

— Нет. Ах, если бы были! Все-таки я знала бы, для чего вся эта бессмыслица творится. К ним бы привязалась. А теперь у меня, кроме книг, и утешения никакого нет...

Она среди разговора не заметила, как поезд замедлял ход. Сквозь запотевшие стекла показалась ярко освещенная станция. Поезд стал.

Разбуженный тишиною Яворский проснулся и быстро сел на диване. Он долго протирал глаза и скреб затылок и, наконец, недовольно уставился на жену.

— Ложись спать, Люба, — сказал он отрывисто и

хрипло. — Черт знает что такое! И о чем это, я не понимаю, целую ночь разговаривать? Все равно путного ничего нет. — Яворский опять почесался и покосился на Шахова. — Ложись вот на мое место, а я сидеть буду.

Он приподнялся.

— Нет, нет, Саша, я все равно не могу заснуть. Лежи, пожалуйста, — возразила Любовь Ивановна. Яворский вдруг грубо схватил ее за руку.

— А я тебе говорю — ложись, и, стало быть, ты должна лечь! — закричал он озлобленно и выкатывая глаза. — Я не позволю, черт возьми, чтобы моя жена третью ночь по каким-то уголкам шепталась... Здесь не номера, черт возьми! Ложись же... Этого себе порядочный человек не позволит, чтобы развращать замужнюю женщину. Ложись!

Он с силой дернул кверху руку Любви Ивановны и толкнул при этом локтем Шахова. Художник вспыхнул и вскочил с места.

— Послушайте! — воскликнул он гневно, — я не знаю, что вы называете порядочностью, но, по-моему, насилие над...

Но ему не дала договорить Любовь Ивановна. Испуганная, дрожащая, она бессознательно положила ему руку на плечо и умоляюще шептала:

— Ради бога! Ради бога...

Шахов стиснул зубы и молча вышел на платформу.

Ночь была теплая и мягко-влажная. Ветер дул прямо в лицо. Пахло сажей. Видно было, как из трубы паровоза, точно гигантские клубы ваты, валил дым и неподвижно застывал в воздухе. Ближе к паровозу эти клубы, вспыхивая, окрашивались ярким пурпуром, и чем дальше, тем мерцали все более и более слабыми тонами. Шахов задумался. Его попеременно волновали: то жалость и нежность к Любви Ивановне, то гнев против ее мужа. Ему было невыразимо грустно при мысли, что через два-три часа он должен ехать в

сторону и уже никогда больше не возобновится встреча с этой очаровательной женщиной... Что с ней будет? Чем она удовлетворится? Найдется ли у нее какой-нибудь исход? Покорится ли она своей участи полурабы, полуналожницы, или, — об этом Шахов боялся думать, — или она дойдет наконец до унижения адюльтера под самым носом ревнивого мужа? Шахов и не заметил, как простоял около получаса на платформе. Опять замелькали огни большой станции. Поезд застучал на стыках поворотов и остановился. «Станция Бирзула. Поезд стоит час и десять минут!» — прокричал кондуктор, проходя вдоль вагонов. Шахов машинально засмотрелся на вокзальную суету и вздрогнул, когда услышал сзади себя произнесенным свое имя.

— Леонид Павлович!

Он обернулся. Это была Любовь Ивановна. Инстинктивно он протянул ей руки. Она отдала ему свои и отвечала на его пожатие долгим пожатием, глядя молча ему в глаза.

— Леонид Павлович, — быстро и взволнованно заговорила она. — Только десять минут свободных. Мне бы хотелось... Только, ради бога, не откажите... Мне давно... никогда не было так хорошо, как с вами... Может быть, мы больше не увидимся. Так я хотела вас просить взять на память... Это мое самое любимое кольцо... и главное — собственное... Пожалуйста!..

И она, торопясь и конфузясь, сняла с пальца маленькое колечко с черным жемчугом, осыпанным брильянтиками.

— Дорогая моя Любовь Ивановна, как все у вас хорошо! — воскликнул Шахов. Он был растроган и чувствовал, что слезы щиплют ему глаза. — Дорогая моя, зачем мы с вами так случайно встретились? Боже мой! Как судьба иногда зло распоряжается! Я не клянусь: ведь вы знаете, что мы никогда друг другу не солгали бы. Но я ни разу, ни разу еще в моей жизни не встречал такого чудного

существа, как вы. И главное, мы с вами как будто нарочно друг для друга созданы... Простите, я, может быть, говорю глупости, но я так взволнован, — так счастлив и... так несчастлив в то же время. Бывает, что два человека, как две половины одной вазы... Ведь сколько половин этих на свете, а только две сойдутся. Благодарю вас за кольцо. Я, конечно, его беру, хотя и так я всегда бы вас помнил... Только, боже мой, зачем не раньше мы с вами встретились!

И он держал в своих руках и нежно сжимал ее руки.

— Да, — сказала она, улыбаясь глазами, полными слез, — судьба иногда нарочно смеется. Смотрите: стоят два поезда. Встретились они и разойдутся, а из окон два человека друг на друга смотрят и глазами провожают, пока не скроются из виду. А может быть... эти два человека... такое бы счастье дали друг другу... такое счастье... Она замолчала, потому что боялась разрыдаться.

— Второй звонок! Бирзула — Жмеринка! Поезд стоит на втором пути-и! — закричал в зале первого класса протяжный голос.

Внезапно дерзкая мысль осенила Шахова.

— Любовь Ивановна! Люба! — сказал он, задыхаясь. — Садимся сейчас на этот поезд и обратно. Ради бога, милая. Ведь целая жизнь счастья. Люба!

Несколько секунд она молчала, низко опустив голову. Но вдруг подняла на него глаза и ответила:

— Я согласна.

В одно мгновение Шахов уже был на полотне и на руках бережно переносил Любовь Ивановну на платформу другого поезда. Раздался третий звонок.

— Кондуктор! — торопливо крикнул Шахов, сбегая по ступенькам с платформы. — Вот в этом вагоне с той стороны сидит господин... Полный, в бакенбардах, в фуражке с бархатным черным околышем. Скажите ему, что барыня села и уехала благополучно с художником. Возьмите себе на чай.

Свисток на станции. Свисток на паровозе. Поезд тронулся.

На платформе никого не было, кроме Шахова и Любови Ивановны.

— Люба, навсегда? На всю жизнь? — спросил Шахов, обвивая рукой ее талию.

Она не сказала ни слова и спрятала свое лицо у него на груди.

Славянская душа

Чем дальше я углубляюсь памятью в прошлое и дохожу, наконец, до событий, сопровождавших мое детство, тем сбивчивее и недостовернее становятся мои воспоминания. Многое, вероятно, было мне рассказано впоследствии, в более сознательное время, теми, кто со вниманием и любовью наблюдал мои первые шаги; многого со мною и не было вовсе, а, слышанное или читанное когда-то, оно слишком тесно приросло к моей душе. Кто поручится, где в этих воспоминаниях кончается фактическая сторона, где начинается давнишняя, обратившаяся в непривычную истину сказка и где, наконец, граница, на которой та и другая так причудливо мешаются?

Особенно ярко встает в моем воображении оригинальная фигура Ясь и двух его товарищей — даже, скажу больше, друзей — на жизненном пути: Мацька — старого кавалерийского бракованного мерина — и дворовой собаки Бутона.

Ясь отличался серьезной медленностью в словах и поступках и всегда имел вид человека в самом себе сосредоточенного. Говорил он очень редко, взвешивая сказанное; речь свою старался сделать русской и только в минуты сильных душевных движений прорывался малорусскими ругательствами и целыми фразами. Благодаря платьям степенного покроя и темных цветов, благодаря торжественному, немного унылому выражению бритого лица со значительно поджатыми тонкими губами он производил впечатление дворового человека старого доброго времени.

Изо всего рода человеческого, кроме самого себя, Ясь, кажется, только моего отца и удостоивал своим уважением. К нам же, детям, к маменьке и ко всем, как своим, так и нашим знакомым, он относился хотя и почтительно, но с оттенком

некоторого жалостливого и презрительного снисхождения. Из какого пункта воздвигалась его непомерная гордость — было всегда для меня загадкой. Бывает, что слуги с известною наглостью одеваются в часть того обаяния власти, которое исходит от их господ. Но отец мой, бедный доктор в еврейском местечке, жил так скромно и тихо, что уж никак не мог подать Ясю повода смотреть свысока на окружающее. Не было у Яся также ни одного из обыкновенных мотивов лакейской наглости: ни столичного лоска с иностранными словцами, ни самоуверенной неотразимости у окрестных гор-ничных, ни сладкого искусства брэнчать на гитаре трогательные романсы, искусства, уже загубившего столько неопытных сердец. Свободные от занятий часы он проводил, лежа в полном бездействии на своем сундуке. Книг Ясь не только не читал, но искренно презирал их. Все прочитанное, кроме Библии, было, по его мнению, написано не по правде, а «вид себе», для того только, чтобы деньги выдуривать, а потому всякой книге Ясь предпочитал те свои длинные, тягучие мысли, которые он переворачивал во время долгого лежания на сундуке.

Мацька исключили из военной службы за многочисленные пороки, в числе которых самым главным была его старость, дошедшая до возмутительных размеров; кроме того, передние ноги были у него согнуты вследствие опоя и в местах соединения с туловищем украшались мешкообразными приростами, а задними он «петушил» на ходу благодаря старинному шпату. Голову с верблюжьим профилем, по старой военной привычке, он драл кверху, выставляя вперед острый кадык, и это, вместе с громадным ростом, необыкновенной худобой и отсутствием одного глаза, придавало ему вид воинственно-жалкий и комически серьезный. Таких коней, задирающих на ходу голову вверх, зовут в полках «звездочетами».

Мацько со стороны Яся пользовался гораздо большим

уважением, нежели Бутон, который иногда проявлял несвойственную своему возрасту легкомысленность. Это был один из тех больших длинношерстных и лохматых псов, которые отчасти напоминали крысоловку, увеличенную в десять раз, отчасти пуделя, а по природе суть самые породистые дворняжки. Дома Бутон отличался отменной серьезностью и рассудительностью во всех поступках, но на улице держал себя положительно неблагопристойно. Если он отправлялся с отцом, то не бежал скромно сзади экипажа, как это делают в подобных случаях порядочные псы. Он кидался на всех встречных лошадей, подпрыгивал с громким лаем к самым их мордам и только тогда пугливо отскакивал в сторону, если одна из них с тревожным храпом нагибалась быстро шею, чтобы схватить зубами нахала. Он забирался в чужие дворы и через несколько секунд кубарем выкатывался оттуда, преследуемый десятками озлобленных собак. Он заводил, наконец, самые темные знакомства с псами, давно приобретшими низменную репутацию.

У нас в Подолии и на Волини ничто человеку не сообщает такого шика, как выезд. Иной помещик давным-давно заложил и перезаложил имение и ждет со дня на день посещения судебного пристава, но если он в воскресенье едет «до свентего костела», то непременно в легком таранасике, запряженном цугом четверьмя, а то и шестью прекрасными, горячими польскими лошадьми и, въезжая на главную площадь местечка, обязательно прикажет кучеру: «Паль с бича, Юзеф». Я уверен, однако, что ни одному из богатых окрестных панов не подавали с таком помпой его выезда, как это делал Ясь, когда отец собирался куда-нибудь. Во-первых, сам Ясь надевал высокий клеенчатый картуз с четырехугольным козырьком и широкий желтый пояс. Затем Мацько, запряженный в рессорный рыдван времени процветания Речи Посполитой, отводился шагов на сто от дома. Едва отец показывался на крыльце, Ясь

торжественно палил с бича; Мацько некоторое время в раздумье вертел хвостом и потом трогался степенной рысцой, вскидывая и поднимая задние ноги высоко, как петух. Равняясь с крыльцом, Ясь делал вид, что с трудом сдерживает нетерпеливых лошадей, и изо всех сил вытягивал вперед руки с вожжами. Все его внимание было поглощено лошадьми, и, что бы ни произошло вокруг, Ясь не повернул бы головы. Вероятно, все это делалось для поддержания нашей фамильной чести.

Вообще о моем отце Ясь был чрезмерно высокого мнения. Случалось, что какому-нибудь бедному еврею или крестьянину приходилось дожидаться своей очереди в передней, пока отец занимался с другими больными. Ясь часто заводил с ним разговор, клонившийся единственно к расширению докторской популярности отца.

— Ты что думаешь? — спрашивал он, приняв на табуретке независимую позу и оглядывая с ног до головы почтительно стоявшего перед ним пациента. — Ты, может быть, думаешь, до волостного писаря пришел или до станового? Мой пан, братику, не только повыше станового, а главное самого исправника будет. Он, братику, все знает на свете. Вот как. У тебя что болит?

— У меня шо-сь у середке болыть, — сконфуженно мялся больной, — и у грудях пече...

— Ну, вот видишь. А отчего? Чем ее пользоваться? Ты не знаешь, и я не знаю. А пан на тебя поглядит только, — так сейчас и скажет, чи ты будешь жив, чи помрешь.

Жил Ясь очень бережливо и все свои деньги употреблял на покупку разных хозяйственных вещей, которые он бережно укладывал в своем большом сундуке, окованном жестью. Ничто нам, детям, не доставляло такого удовольствия, как позволение Яся присутствовать при переборке этих вещей. Изнутри крышка сундука была оклеена картинами самого разнообразного содержания. Тут, рядом с

грозными отечественными генералами в зеленых усах, помещались: и хождение души по мытарствам, и гравюра из «Нивы», изображающая этюд женской головки, и Соловей-разбойник на дубу, старательно раскрывающий правый глаз навстречу стреле Ильи Муромца. Затем из сундука последовательно выгружалась коллекция пиджаков, жилетов, полушубков, бараньих шапок, чашек и блюдец, проволочных коробок, украшенных бисером и тафтяными цветочками, и маленьких круглых зеркалец. Нередко из бокового отделения сундука вынималось яблоко или пара маковников, которые для нас всегда казались особенно вкусными.

Ясь вообще был очень аккуратен и старателен. Однажды он разбил большой графин от воды, и отец сделал ему выговор. На другой день Ясь явился с двумя целыми графинами. «Все равно, может быть, я и еще разобью, — пояснил он, — а в доме все-таки не лишнее». В комнатах он сам завел и постоянно поддерживал образцовую чистоту. Он ревниво оберегал свои права и обязанности и был глубоко убежден, что никто не сумеет лучше его вычистить полов. Как-то между Ясем и новой горничной, Евкой, возник горячий спор, кончившийся состязанием на то, кто лучше и чище уберет комнаты. Мы были приглашены, как эксперты, и, из желания немного посер-дить Яся, отдали пальму первенства женщине. Мы, дети, по незнанию человеческой души, и не подозревали, какой удар нанесли Ясю своим жестоким решением. Он ушел, не сказав ни слова, и на другой день всем в местечке стало известно, что Ясь запил.

Это случалось с ним приблизительно раз в два-три года и составляло как его, так и всей нашей семьи несчастье. Некому было ни нарубить дров, ни напоить лошадь, ни принести воды. Пять или шесть дней мы не видели Яся и не слышали о нем. На седьмой день он явился без картуза и чемерки, страшный, растрепанный. За ним, шагах в тридцати,

следовала галдящая толпа евреев. Мальчишки кричали и кривлялись. Все знали, что сейчас будет происходить аукцион. Действительно, через минуту Ясь выбежал из дома на улицу, держа в руках почти все содержимое заветного сундучка. Толпа немедленно окружала его.

— Как? Вы мне водки не даете? — кричал Ясь, потрясая брюками и жилетами, нанизанными на руках. — Що? У меня денег нема? А это що? А це? А це? Це?

И в толпу одни за другими летели его одежды и подхватывались десятками хищных рук.

— Сколько даешь? — кричал Ясь какому-нибудь еврею, завладевшему пиджаком. — Сколько даешь, кобылячья твоя голова?

— Ну-у-у? Пятьдесят копеек я могу дать, — говорил еврей, прищуривая глаза.

— Пятьдесят? Пятьдесят?! — Отчаяние Яся доходило до крайних пределов. — Не хочу пятьдесят! Давай двадцать копеек! Давай злот! Это що? Утиральники? Давай за все гривенник. Щоб вам очи повылазили! Щоб вас болячка задушила! Щоб вы малэнькими булы здохлы!

Полиция в нашем местечке есть, но все ее обязанности заключаются в том, чтобы крестить у «хозяев» детей, и в подобных случаях она, не принимая никакого участия в беспорядке, играет скромную роль гостя без речей. Отец, видя расхищение Ясиного имущества, не выдерживал более своего гневного презрения (напился, мол, идиот, и пусть теперь разделяется) и самоотверженно кидался в галдящую толпу. Через секунду на сцене только и оставались: Ясь и отец, державший в руках какую-нибудь жалкую бритвенницу. Ясь несколько минут качался от изумления на месте, высоко и беспомощно подымая кверху брови, и вдруг грохался на колени.

— Пане! Пане мой коханий! Что ж ото воны мини зробыли! Пане мой коханий!..

— Иди в сарай! — сердито приказывал отец и отталкивал от себя Яся, который хватал и целовал полы его сюртука. — Иди в сарай, prospись! И чтобы духу твоего завтра же здесь не было.

Ясь покорно отправлялся в сарай, и тогда для него начинались мучительные часы похмелья, отягченные и усугубленные муками раскаяния. Он лежал на животе, подперев голову ладонями и устремив глаза в одну точку перед собой. Он отлично знал, что теперь происходит дома. Ему ясно представлялось, как все мы просим у отца за Яся и как отец нетерпеливо отмахивается от нас руками. Ясь отлично знал, что уже на этот раз отец наверно останется, непреклонным.

Иногда, прислушиваясь из любопытства у дверей сарая, мы различали доносившиеся оттуда звуки, — странные звуки, похожие на рычание и всхлипывание.

В эти минуты падения и скорби Бутон считал своим нравственным долгом навестить страждущего Яся. Умный пес отлично понимал, что в обыкновенное, трезвое время Ясь не допустил бы с его стороны даже намек на фамильярные отношения. Поэтому всегда, встречаясь во дворе с суровым слугою, Бутон делал вид, будто бы он что-то внимательно разглядывает вдали, или озабоченно ловил ртом пролетающую муху. Одно обстоятельство меня всегда удивляло. Мы часто ласкали и порою кормили Бутона, вытаскивали у него из шерсти колючие репяхи, что он мужественно и безмолвно переносил, несмотря на очевидные страдания, даже целовали его в холодный, мокрый нос. И, однако, все симпатии и привязанности его целиком принадлежали Ясю, от которого он, кроме пинков, ничего не видел. Увы, теперь, когда жестокий опыт учит меня заглядывать во всем и наизнанку, я начинаю подозревать, что источник Бутоновой привязанности вовсе не был так загадочен; все-таки не мы, а Ясь приносил ежедневно Бутону миску послеобеденных остатков.

В мирное время, повторяю, Бутон ни за что не рискнул бы так непосредственно обратиться к чувствам Яся. Но в дни покаяния он смело заходил в сарай, садился рядом с лежащим Ясем и, глядя в угол, вздыхал глубоко и сочувственно. Если это не помогало, Бутон начинал лизать сначала робко, потом все смелее и смелее руки и лицо своего покровителя. Кончалось тем, что Ясь, рыдая, обхватывал Бутона за шею; Бутон принимался потихоньку подвигать ему, и вскоре они сливали свои голоса в странный, но трогательный дуэт.

На другой день Ясь являлся в комнаты чуть свет, мрачный и не смеющий поднять глаз. Полы и мебель доводил он до блистательной чистоты к приходу отца, при одной мысли о котором Ясь трепетал. Но отец оставался неумолим. Он вручал Ясю паспорт и деньги и приказывал немедленно очистить кухню. Мольбы и клятвы оказывались тщетными. Тогда Ясь решался на крайнее средство.

— Так, значит, кажете мне, пане, уходить? — спрашивал он дерзко.

— Да. И немедленно.

— Так вот не уйду же. Теперь вы гоните, а без меня пропадете все, как тараканы. Не пойду, тай годи!

— С полицией выведут.

— Выведут меня?.. — возмущался Ясь. — Ну и пусть выводят. Пусть весь город видит, что Ясь двадцать лет служил верой и правдой, а его за это при полиции в буцыгарню тянут. Пусть выводят. Не мне будет стыдно, а пану!

И действительно, Ясь оставался. Угрозы от него отскакивали без воздействия. Не обращая на них ни малейшего внимания, он работал без устали, работал преувеличенно много, стараясь наверстать потерянное время. Вечером он не шел спать в кухню, а ложился в стойле около Мацька, и конь всю ночь стоял, растопырив ноги и боясь переступить ими. Через несколько дней жизнь Яся вступала медленно в прежнее русло. Отец мой был добродушный и

ленивый человек, которого совершенно подчиняли себе привычные условия, люди и вещи. К вечеру он прощал Яся.

Собою Ясь был красавец — брюнет украинского меланхолического типа. Девки и молодницы заглядывались на него, хотя ни одна, пробегая перепелкой по двору, не рисковала кокетливо ткнуть Яся в бок кулаком или вызывающе улыбнуться: слишком много в нем было надменного, ледяного презрения к прекрасному полу. И сладости семейного очага также мало прельщали его. «Как эта самая баба заведется в хате, — говорил брезгливо Ясь, — так сейчас воздух дурной пойдет». Впрочем, и то один только раз, он сделал попытку в этом направлении, причем ему суждено было удивить нас более, чем когда-либо.

Однажды, когда мы сидели за вечерним чаем, Ясь вошел в столовую совершенно трезвый, но с взволнованным лицом и, таинственно указывая через плечо большим пальцем правой руки на дверь, спросил шепотом:

— Можно «им» войти?

— Кто там такой? — спросил отец. — Пусть входит. Мы все с ожиданием устремили глаза на дверь, из которой медленно выползло странное существо. Это была женщина лет пятидесяти с лишним, в лохмотьях, избитая и бессмысленная.

— Благословите нас, пане, вступить в брак, — сказал Ясь, опускаясь на колени. — Становись, дура, — крикнул он на женщину и потянул ее грубо за рукав.

Отец с трудом пришел в себя от изумления. Он долго и горячо толковал Ясю, что надо сойти с ума, чтобы жениться на такой твари. Ясь слушал молча, не вставая с колен; бессмысленная женщина также не поднималась.

— Так не велите, пане, жениться? — спросил наконец Ясь.

— Не только не велю, — отвечал отец, — но я уверен, что ты этого не сделаешь.

— Значит, так и будет, — сказал решительно Ясь. — Вставай, дура! — обратился он к женщине. — Слышишь, что пан говорит? Ну, и пошла вон!

И с этими словами, держа неожиданную гостью за шиворот, он быстро скрылся вместе с нею из столовой.

Это была единственная попытка Яся на брачном поприще. Объяснял ее себе каждый различно, но никто не шел дальше догадок, а когда спрашивали об этом у Яся, он только досадливо отмахивался руками.

Еще таинственнее и неожиданнее была его смерть. Она произошла так внезапно и загадочно и так мало имела, по-видимому, связи с предшествующими событиями Ясиной жизни, что, поставленный в необходимость рассказать о ней, я чувствую себя не совсем ловко. Но все-таки я ручаюсь, что все мною рассказанное не только в самом деле было, но даже не прикрашено для яркости впечатления ни одним лишним штрихом.

Однажды на вокзале, находящемся в трех верстах от местечка, повесился в уборной какой-то проезжий — хорошо одетый и не старый господин. Ясь в тот же день попросил у отца позволения пойти посмотреть.

Часа через четыре он вернулся, прямо прошел в гостиную, где в это время сидели гости, и остановился у притолоки. Он только два дня как отбыл срок своего покаяния в сарае и был совершенно трезв.

— Что тебе? — спросила маменька.

— Гы-ы-гы! — захохотал внезапно Ясь. — Язык-то у него наружу вылез... у пана...

Отец прогнал тотчас же его на кухню. Гости поговорили немного о странностях Яся и скоро позабыли об этом маленьком случае.

На другой день, проходя в восемь часов вечера мимо детской, Ясь подошел к моей сестренке и обнял ее.

— Прощай, доня, — сказал он и погладил ее по голове.

— Прощай, Ясь, — ответила сестра, не подымая головы от куклы. Через полчаса к отцу в кабинет вбежала Евка, бледная, трясущаяся.

— Пане... там... на чердаке... зависився... Ясь. И упала.

На чердаке висел на тонком шпагате мертвый Ясь. Когда следователь допрашивал кухарку, она показала, что в день смерти Ясь был очень странен.

— Станет он перед зеркалом, — рассказывала она, — сожмет себе горло руками, аж весь покраснеет, а сам язык высунет и глаза приплющит... Видно, все сам себе представлялся.

Так следователь и отнес причину смерти Яся к умственному расстройству. Когда похоронили Яся в специальном для этой цели овраге за рощей, то на другой день не могли отыскать Бутона. Оказалось, что верный пес убежал на могилу и лежал там и выл, оплакивая смерть своего сурового друга. А потом исчез без вести. Теперь, ставши почти стариком, я иногда перебираю свои пестрые воспоминания и, задерживаясь мыслью над Ясем, каждый раз думаю: какая странная душа, — верная, чистая, противоречивая, вздорная и больная, — настоящая славянская душа, жила в Ясином теле!

Аль-Исса

Легенда

За несколько веков до рождения Христова в самом центре Индостана существовал сильный, хотя и немногочисленный народ. Имя его изгладилось в истории, даже священные Веды не упоминают о нем ни одной строчкой. Но старые факиры, ревностные хранители преданий, говорят, что родоначальники этого народа, суровые и бесстрашные люди, пришли с далекого Запада и в короткое время покорили своей власти весь Индостан. Все раджи и князья Индостана платили им дань, а пленные рабы обрабатывали их землю. Они не знали ни роскоши, ни страха смерти, и это делало их непобедимыми.

Этот могущественный народ поклонялся живому существу — женщине, которая называлась богиней смерти. Богиню смерти никто никогда не видал, кроме двух старейших жрецов. Они же и выбирали ее тайно из всех красивейших девочек, не достигших еще четырехлетнего возраста, воспитывали ее и чудесными, одним им открытыми способами доводили ее красоту до сверхъестественного совершенства. Когда умирала одна богиня смерти, на место ее двое жрецов возводили тотчас же другую, но об этом знали только они. Народ верил, что богиня бессмертна и красота ее неувядаема.

Раз в пять лет, ночью, она выезжала из своего храма на гигантской колеснице, закрытой со всех сторон и запряженной десятью белыми слонами. Ее встречал весь народ с пением священных гимнов, с зажженными факелами в руках. Восторг толпы доходил до бешенства. Рубили головы сотням рабов, многие истязали себя бичами и кривыми кинжалами, в исступлении бросались под колесницу богини,

чтобы быть раздавленными слонами и колесами...

В одну из таких ночей жрецами и народом избирался для богини смерти муж. Только двенадцать часов был он ее мужем. Утром его на костре торжественно приносили в жертву, потому что всякий, кто хоть раз увидел лицо богини, по законам подлежал немедленной смерти. И несмотря на это, каждые пять лет двенадцать славнейших юношей обрекали себя на служение страшной богине. Их ожидали такие тяжелые испытания, что предание насчитывает только четырех героев, удостоенных величайшей чести — умереть мужем богини смерти.

Аль-Исса был сыном знатного раджи. Пятнадцати лет он уже превосходил всех молодых людей смелостью, силой и красотой. Самая знатная и гордая красавица Индии сочла бы счастьем назваться его женой. Но Аль-Исса посвятил себя богине смерти.

Он должен был отказаться от семьи. Прикосновение к женщине считалось для него преступлением. Во всю жизнь он не смел ни улыбнуться, ни запеть песни... Война и атлетические упражнения были его единственными занятиями.

И Аль-Исса выдержал тяжелый искуc. Слезы матери и сестер не тронули его, когда он уходил из своего роскошного дворца. При встречах с женщинами он опускал глаза и далеко обходил лучших красавиц... Никто никогда не видал его смеющимся или преданным праздному разговору...

Зато скоро имя его стало приводить в ужас самых воинственных соседей. Без панциря, в одной легкой белоснежной одежде, он кидался в самую густую толпу неприятелей. Туловища, рассеченные от плеча к бедру, отрубленные головы, руки и ноги указывали его путь. Встреча с ним была неминуемой смертью, и закаленные враги бежали перед ним, как стада овец, с криками: «Аль-Исса! Аль-Исса!..»

Если не было войны, он проводил время на охоте за

дикими кабанами и тиграми. Вода из лесного ручья и кусок хлеба служили ему пищей, седло — изголовьем.

Наконец, через три пятилетия, в один из тех дней, когда выезжала на колеснице богиня смерти, глашатаи объявили народу имя Аль-Исса.

Несметная толпа еще с утра стекалась на огороженную стеною площадь перед храмом, где Аль-Исса ожидали последние испытания. Его имя было у всех на устах. Все знали, что сама богиня смерти, не видимая никем, смотрит теперь из тайной амбразуры храма на площадь.

Отмерили расстояние в двести локтей, вбили в землю щит с пятью воткнутыми в него стрелами и дали Аль-Исса громадный лук... И Аль-Исса при громких криках восторга расщепил своими пятью стрелами пять стрел на щите.

Потом вооружили Аль-Исса кривым кинжалом и на площадь выпустили голодного, разъяренного бенгальского тигра.

Аль-Исса на глазах всего народа, истерзанный страшными когтями, обливаясь кровью, перерезал горло свирепому хищнику и наступил ногой на его труп...

Наконец толпа расступилась, и Аль-Исса подвели злого варварийского жеребца. Дикий, черный, с пламенными ноздрями, он еще никогда не носил на своей спине оскорбительного бремени. Шестеро конюхов едва удерживали его. Он злобно визжал, водил вокруг огненными глазами и дрожал своей атласной кожей.

Аль-Исса спокойно подошел к нему и взялся за холку. Конюхи разбежались. Народ в ужасе и смятении бросился в стороны... В один миг Аль-Исса уже сидел на коне. Сначала гордое животное только тряслось от злобы и оскорбления... Через минуту конь и всадник скрылись из глаз народа.

Прошел целый час томительного ожидания, когда, наконец, вдали показался Аль-Исса на взмыленном и покрытом пылью коне. Варварийский жеребец шатался от

усталости, но был послушен Аль-Исса, как ручная овечка.

Испытания Аль-Исса кончились.

В полночь его, одетого в драгоценные одежды, умащенного ароматами Востока, отвели в храм и оставили одного. Он слышал на улицах рев народа, все более и более приближающийся к храму. Это богиня объезжала город на своей колеснице, запряженной белыми слонами.

Потом в храм вошли два верховных жреца — столетние старцы с волосами белыми, как снег. Жрецы опустили перед Аль-Исса на колени, облобызали его ноги и потом, взявши за руки, повели в святилище. Там среди фантастической восточной роскоши возвышалось золотое ложе... Курильницы благоухали ароматами Аравии и Персии... причудливые фонари лили волшебный свет..; в золотых клетках качались пестрые священные птицы, шелковые ткани тяжелыми складками одевали стены...

Жрецы безмолвно удалились, закрыв лица руками. Аль-Исса ожидало блаженство и через двенадцать часов — мучительная смерть.

Где-то далеко за стеной раздалось нежное и сладостное пение женского хора. Массивные двери слоновой кости распахнулись... и медленно вошла сама богиня смерти в длинных белых одеждах, окутанная покрывалом.

Аль-Исса кинулся к ней, дрожащими руками распахнул легкую ткань, закрывавшую лицо, и окаменел от ужаса и изумления...

Перед ним стояла дряхлая старуха, сморщенная, беззубая, со слезящимися глазами и потухшим взором.

Куст сирени

Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в фуражке прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастье... Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами...

Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — инструментальную съемку местности...

До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили... Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость... Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости, его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.

Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим: раз, два, три-три: два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону... Вера стояла в двух шагах от него также молча, с страданием на красивом, нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого труднобольного человека...

— Коля, ну как же твоя работа?.. Плохо?

Он передернул плечами и не отвечал.

— Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим.

Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду.

— Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло!.. Всю эту дрянь, — и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, — всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия! Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна... О, черт!

— Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.

Она села на ручку кресла и обвила рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.

— Какое же пятно, Коля? — спросила она еще раз.

— Ах, ну, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминирован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать — и посадил пятно... Да еще густое такое пятно... жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте

изобразить... Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. «Так, так, н-да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?» Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только... Впрочем, нет, не рассмеется, — аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит: «Нет, я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. «Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом... Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты...»

— Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?

— Ах, господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь. Да потому, что он вот уже двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете, да еще немец вдобавок... Ну и окажется в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю... Кроме того...

Во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать.

Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла.

— Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать! Одевайся скорей.

Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли.